

Николай Брешко-Брешковский

Дикая дивизия



Николай Николаевич Брешко- Брешковский

Дикая дивизия

«...Первая мировая война 1914–1918 гг. Одно из основных сражений на русском (восточном) театре военных действий развернулось тогда на юго-западе против войск Австро-Венгрии. Галицийская битва – август-сентябрь 1914 года – явилась крупной военно-стратегической победой России. Русская армия продвинулась вглубь на 230–300 километров, захватила Галицию и ее главный город Львов. На фоне этих событий и разворачивается действие романа “Дикая дивизия”...»

Содержание

Часть первая	0006
«Под тремя золотыми львами»	0006
Всадники из глубины Азии	0014
Великий князь Михаил	0019
Лара заинтересована. Лара едет	0030
Политический авантюрист	0038
Глава с неожиданным окончанием	0045
Ее первый роман с тринадцатью письмами	0054
На поляне и за столом	0064
Глава, в которой Саша Чавчавадзе перестал быть светским человеком	0073
Карикозов в большом свете	0079
Преступление и наказание	0087
В отдельном кабинете	0094
Тот, кого нет, но о ком говорят	0106
Откровенная женщина	0116
Смелый и робкий	0123
Жуткие призраки	0130
Без пяти минут поединок	0139
Часть вторая	0151
Два разных мира, две разные совести	0151
Мечты о диктатуре	0159
Накануне событий исключительной важности	0168

На вершине «власти»	0182
Бомбист-аристократ приезжает в ставку .	0192
Корнилов настоял на Дикой дивизии	0200
Паника в разбойничьем притоне	0209
В чьи руки попала Дикая дивизия	0218
«А счастье было так возможно, так близко...» . .	0226
Глубокая разведка	0236
Тайна «политического кабинета» на Захарьевской	0243
Во власти горилл	0253
Судьба трех всадников	0256
Верные священным адатам	0262
Недобрые вести	0272
Осаждающие и осажденные	0278
Маленькая неприятность в большом свете	0288
Лара	0299
Близкие-далекие	0305

**Николай Николаевич
Брешко-Брешковский
Дикая дивизия**

Часть первая

«Под тремя золотыми львами»

Каждый маленький, глухой городишко австрийской Галиции желал походить, если даже и не на Вену, эту нарядную столицу свою, то, по крайней мере, хотя бы на Львов. Подражательность эта выявлялась, главным образом, в двух-трех кафе, или, по-местному, по-польски, – в цукернях.

Пусть в этих цукернях выпивался за весь день какой-нибудь жалкий десяток стаканов кофе с молоком, съедалось несколько пирожных, и местные чиновники играли две-три партии на бильярде. Пусть, но и кофе, и пирожное, и сухое щелканье шаров в дыму дешевых сигар и папирос – все это вместе давало бледный отзвук той жизни, которая бурлит и клоочет в блестящей, прекрасной и недосягаемой Вене.

Когда началась война и русская армия заняла Галицию, дела местных каверень не только поправились, а побежали в гору. Кофе

и пирожное отошли в историю. Щедро платившие русские офицеры пили старое венгерское вино, ликеры и шампанское, а сухое щелканье бильярдных шаров не смолкало с утра и до поздней ночи.

Так было везде, так было и в местечке Тлусте-Място, где стоял штаб туземной кавказской конной дивизии. Более интимно и более сокращенно ее называли Дикой дивизией.

В цукерне «Под тремя золотыми львами» переменился хозяин. Прежний – старый седоусый поляк с приятными манерами, – продал свое дело, уехал куда-то, а вместо него появился господин, хорошо одетый, с военной выправкой, с ястребиным профилем помятого лица и с тонкими губами. Он был вежлив, но у Него не было мягких, профессиональных манер седоусого пана.

По-русски он говорил почти свободно, хотя и с акцентом. Но когда офицеры Дикой дивизии, эти бароны, князья и графы в черкесках, говорили при нем по-французски и по-английски, никто из них не подозревал, что хозяин владеет не только этими языками, но еще и чешским, «сербским, румынским и да-

же турецким.

Ему не сиделось на месте. Он часто ездил в Тарнополь и в Станиславов. В этих городах у него тоже были свои цукерни, конечно, более шикарные, чем «Под тремя золотыми львами». Но с тех пор, как фронт утратил свою подвижность, затих, и штаб Дикой дивизии надолго обосновался в Тлусте-Място, обладатель ястребиного профиля основательно засел «Под тремя золотыми львами».

Цукерня помещалась в бельэтаже небольшого кирпичного особняка. Надо было подняться по деревянной лестнице, расшатанной и скрипящей с тех пор, как ступеньки ее неустанно попирались тысячами, десятками тысяч ног в кавказских чувяках и в сапогах со шпорами.

В первой комнате – столики и буфет, а за буфетом дебелая блондинка. Во второй комнате – два биллиарда. В остальных комнатах – квартира хозяина.

И вот в эту летнюю ночь, когда после одиннадцати цукерня была закрыта и над стеклянной дверью уже не звенел колокольчик на железной пружине, хозяин принял в своем

кабинете позднего гостя.

Этот посетитель – фельдшер Дикой дивизии в серой суконной черкеске и с большим кинжалом на животе. От черкески и кинжала воинственный вид фельдшера Карикозова мало выигрывал. Черкеска сидела на его несуразной фигуре отчаянно, а кинжал был ему только помехой. Карикозов был человек путаной и сбивчивой национальности, называл себя то армянином, то кабардинцем, то осетинцем, в действительности же не будучи ни тем, ни другим, ни третьим. Череп его имел форму дыни с большим плоским лбом. Лицо с носом-картофелиной, резко асимметричное. Одна половина не сходилась с другой. Левый глаз ниже правого, и в таком же соответствии и брови, и линия рта. В общем – восточная внешность, но сказалась в фельдшере Карикозове менее всего в смысле породы и более всего вырожденчески. Такие типы в Константинополе приставали к европейским туристам, таинственно обещали ввести их в гарем какого-нибудь паши и, вместо гарема, вели в публичные дома Галаты, где они получали известный процент с каждого «гостя».

Хозяин цукерни «Под тремя золотыми львами» сел, закурил сигару и только потом неохотно предложил сесть человеку с большим кинжалом.

Обладатель ястребиного профиля опытным, холодным, прищуренным взглядом всматривался в посетителя.

«Глуп, туп и лукав», – решил он. А посетитель напряженно молчал, и от этого напряжения и еще от сильной охоты угодить его лоб – дыня вспотел.

– Ваша фамилия Каракозов?

Хозяин цукерни коснулся больного места: фельдшер злился, когда искажали его фамилию и все лицо вместе с бровями и ртом пришло в движение, и он заговорил хрипло и резко, с акцентом актеров, выступающих с армянским анекдотами:

– Па-слюшайте, господин, очень вас прошу – я не Каракозов и не Киракозов... я Карикозов, нанимаете, Карикозов!

Подобие улыбки тронуло тонкие губы, но холодными оставались глаза.

– Хорошо, я буду помнить: вас зовут Каракизовым. Так вот, Каракизов, если вы будете

доставлять интересные сведения, я буду вам хорошо платить.

– Почему не интересно? Всегда будет интересно! – пообещал фельдшер.

– У вас есть какое-нибудь отношение к штабу дивизии?

– Очень большое отношение. Старший писарь на оперативные отделения мой первый друг.

– Да, это очень хорошо... Но только соблюдайте осторожность, чтобы не влопаться. А эта ваша дружба, на чем же она основана?

– Я его лечу от одной неприятной болезни... Даже очень нехорошей болезни... Вновь сухие губы дрогнули улыбкой.

– Лечите же его подольше. Пациент всегда заискивает перед своим врачом и поэтому – болтлив. А скажите, Каракозов, виноват, Карикозов, как поставлена охрана великого князя?

– Известно! Конвой охраняет, а начальник конвоя, ротмистр Бичерахов, осетин. Великий князь очень храбрый: все вперед, все вперед! А только Юзефович, полковник, начальник штаба, не пускает. «Ваше высочества, – гово-

рит, – я вашей маменька-императрица слова дал, буду беречь ваша священни особа»... – Как следует охраняет! – Кроме конвоя, есть еще и тайная охрана?

– Есть! Четыре политических сыщик. Только он об этом ничего не знает, Михаиле.

– Как вы сказали?

– Михаиле, говорю! Наши туземци всадник так называют великий князь: «Наш Михаиле».

Карикозов хотел еще что-то прибавить, но осекся, увидев, что собеседник его не слушает, думая о чем-то другом. Карикозов понял инстинктом: они хотят убить великого князя, уже потому хотя бы, что он брат государя. И фельдшер побледнел, и во рту у него пересохло, но не от каких-либо добрых человеческих побуждений, нет, а просто Карикозов струсил. Он был отчаянный трус.

Хозяин открыл ящик письменного стола и вынул две новенькие сторублевки.

– Вот вам аванс на расходы. Помимо директив, которые будут от меня получаться, донесите обо всем, что увидите и услышите. Не все, конечно, а то, что будет иметь военное

значение. Возьмите же это...

Фельдшер рукою, походившей на птичью лапку, с узловатыми, короткими пальцами, взял со стола деньги и зажал их под длинным рукавом черкески. Его лицо, отвратительное и без того, исказилось жадностью, и эта жадность подсказала ему:

– Господин, еще спирт, магу, каньяк магу...

– Не надо.

– По дешевой цене...

– Не надо!

– Кокаин?

Что-то блеснуло в холодных глазах человека с ястребиным профилем:

– Кокаин принесите! Он встал.

– Вас проведут черным ходом. И всегда приходите с черного хода. Переулок темный, узенький... там никогда никого не бывает...

Фельдшер, очутившись в переулке и нагнувшись на глаза папаху, уверенный, что так его никто не узнает, подняв полы черкески, засунул в карман две скомканные сторублевки.

– Для начала неплохо, – подумал он. А вторая мысль была. – Этот австриец прав, шель-

ма, надо затянуть болезнь старшему писарю оперативного отделения...

Всадники из глубины Азии

Русская, так называемая регулярная, конница всегда стояла на большой высоте. Но в то же время необъятная империя обладала еще и прирожденной конницей, единственной в мире по числу всадников, по боевым качествам своим.

Это – двенадцать казачьих войск, горские народы Северного Кавказа и степные наездники Туркестана.

Ни горцы, ни среднеазиатские народы не отбывали воинской повинности, но при любви тех и других к оружию и к лошади, любви пламенной, привитой с самого раннего детства, при восточном тяготении к чинам, отличиям, повышениям и наградам путем добровольческого комплектования можно было создать несколько чудесных кавалерийских дивизий из мусульман Кавказа и Туркестана. Можно было бы, но к этому не прибегали.

Почему? Если из опасения вооружить и научить военному делу несколько тысяч ино-

родческих всадников, – напрасно! На мусульман всегда можно было вернее положиться, чем на христианские народы, влившиеся в состав Российского царства. Именно они, мусульмане, были бы надежной опорой власти и трона.

Революционное лихолетье дало много ярких доказательств, что горцы Кавказа были до конца верны присяге, чувству долга и воинской чести и доблести.

Мы на этом в свое время остановимся подробно, а посему не будем забегать вперед.

Только когда вспыхнула великая война, решено было создать туземную конную Кавказскую дивизию.

С горячим, полным воинственного пыла энтузиазмом отозвались народы Кавказа на зов своего царя. Цвет горской молодежи поспешил в ряды шести полков дивизии – Ингушского, Черкесского, Татарского, Кабардинского, Дагестанского, Чеченского. Джигитам не надо было казенных коней – они пришли со своими; не надо было обмундирования – они были одеты в свои живописные черкески. Оставалось только нашить погоны. У каж-

дого всадника висел на поясе свой кинжал, а сбоку своя шашка. Только и было у них казенного, что винтовки. Жалованья полагалось всаднику двадцать рублей в месяц. Чтобы поднять и без того приподнятый дух горцев, во главе дивизии поставлен был брат государя, великий князь Михаил Александрович, высокий, стройный, сам лихой спортсмен и конник. Такой кавалерийской дивизии никогда еще не было и никогда, вероятно, не будет.

Спешно понадобился офицерский состав, и в дивизию хлынули все те, кто еще перед войной вышел в запас или даже в полную отставку. Главное ядро, конечно, кавалеристы, но, прельщаемые экзотикой, красивой кавказской формой, а также и обаятельной личностью царственного командира, в эту конную дивизию пошли артиллеристы, пехотинцы и даже моряки, пришедшие с пулеметной командой матросов Балтийского флота.

И впервые с тех пор, как существует русская военная форма, можно было видеть на кавказских черкесках «морские» погоны.

Вообще, Дикая дивизия совмещала несов-

местимое. Офицеры ее переливались, как цветами радуги, по крайней мере двумя десятками национальностей. Были французы – принц Наполеон Мюрат и полковник Бертен; были двое итальянских маркизов – братья Альбици. Был поляк – князь Станислав Радзивилл и был персидский принц Фазула Мирза. А сколько еще было представителей русской знати, грузинских, армянских и горских князей, а также финских, шведских и прибалтийских баронов? По блеску громких имен Дикая дивизия могла соперничать с любой гвардейской частью, и многие офицеры в черкесках могли увидеть имена свои на страницах Готского альманаха.

Дивизия сформирована была на Северном Кавказе, и там же в четыре месяца обучили ее и бросили на австрийский фронт. Еще только двигалась она на запад эшелон за эшелоном, а уже далеко впереди этих эшелонов неслась легенда. Неслась через проволочные заграждения и окопы. Неслась по венгерской равнине к Будапешту и Вене. В нарядных кофейнях этих обеих столиц говорили, что на русском фронте появилась страшная конница отку-

да-то из глубины «Азии». Чудовищные всадники в длинных восточных одеждах и в громадных меховых шапках не знают пощады, вырезают мирное население и питаются человеческой, требуя нежное мясо годовалых младенцев.

И сначала не только досужие болтуны в кофейнях, но, и штабные австрийские офицеры, имевшие о России более чем смутное понятие, готовы были верить, что страшные всадники действительно вырезают все мирное население и лакомятся детским мясом.

Легенда о кровожадности всадников не только поддерживалась, а и муссировалась австрийским командованием, чтобы внушить волю к сопротивляемости мозаичным, разноплеменным войскам его апостольского величества императора Франца Иосифа.

И когда эта «человеческая мозаика» начала сдаваться в плен, высшее командование наводнило армию воззваниями: «Эти азиатские дикари вырезают поголовно всех пленных».

Воззвание успеха не имело. Ему никто не верил. Австрийские чехи, румыны, итальян-

цы, русины, далматинцы, сербы, хорваты батальонами, полками, дивизиями под звуки полковых маршей, с развернутыми знаменами переходили к русским.

Наше повествование относится к моменту, когда после успехов и неудач русская армия, освободив часть Галиции, задержалась на линии реки Днестра. Дикая дивизия занимала ряд участков на одном берегу, более пологом, а к другому, более возвышенному, подошли и закрепились австрийцы.

Великий князь Михаил

Фельдшер Карикозов не солгал человеку с ястребиным профилем: полковник Юзефович, крепкий, приземистый, большеголовый и широкоплечий татарин, следил, чтобы во время боев великий князь Михаил не вырывался вперед и не рисковал собой.

Как только Юзефович был назначен начальником штаба Дикой дивизии, его потребовал к себе в ставку верховный главнокомандующий великий князь Николай Николаевич.

– Немедленно отправляйтесь в Киев. Вас

желает видеть императрица Мария Федоровна.

В Киеве императрица, обласкав Юзефовича, сказала ему:

– Полковник, прошу вас как мать, берегите Мишу. Вы можете дать мне слово?

– Мое слово солдата вашему величеству, я буду охранять великого князя по мере сил моих...

Юзефович был верен своему слову. А держать слово было нелегко. Нужны были неустанная зоркость и внимание, настойчивость, надо было, кроме того, быть дипломатом, Действовать так, чтобы, во-первых, сам великий князь не замечал опеки над собой, а во-вторых, чтобы ее – этой самой опеки – не замечали все те, перед кем можно было поставить велико князя в неловкое положение. А он, как нарочно, всегда хотел быть там, где опасно и где противник развил губительный огонь. Толкала Михаила в этот огонь личная отвага сильного физически, полного жизни спортсмена и кавалериста, затем еще толкала мысль, чтобы кто-нибудь из подчиненных не заподозрил, что своим высоким положением

он желает прикрывать свою собственную трусость. А между тем, если подчиненные и упрекали его, то именно в том, что он часто без нужды для дела и для общей обстановки стремился в самое пекло.

Хотя польза была уже в том, что полки, видя великого князя на передовых позициях своих, воспаменялись, готовые идти за ним на верную смерть. Он одним появлением своим наэлектризовывал горцев. И они полюбили его, полюбили за многое: прежде всего за то, что он брат государя и храбрый джигит, а потом уже за стройность фигуры, тонкость талии, за умение носить черкеску, за великолепную посадку, за приветливость и за то, наконец, что у него была такая же ясная, бесхитростная душа, как у них, этих наивных всадников.

И так же просто и ясно на виду, как под стеклянным колпаком, жил великий князь на войне. Обыкновенно генералы куда большим комфортом и блеском окружали себя.

Вся свита Михаила не превышала двух-трех адъютантов. На походах он ютился в тесных мужицких халупах вместе с офицерами,

а в дни трудных зимних боев в Карпатах спал в землянках и, питаясь консервами, заболел желудочной язвой.

На длительных стоянках в городах и местечках, как то было в Тлусте-Място, он занимал две комнаты. Одна служила ему кабинетом и спальней, другая – столовой.

Сам он, кроме минеральной воды, ничего не пил, и вино подавалось для свиты и для гостей – иногда приглашались к завтраку или к обеду командиры бригад и полков, а то и офицеры помоложе, из тех, кого Михаил Александрович знал лично и по совместной службе в гвардии, и по черниговским гусарам, коими он командовал около двух лет в провинциальном глухом Орле, куда был сослан за свой роман с женой ротмистра Вульфферта, однополчанина своего по синим кирасирам.

Теперь он был женат на бывшей мадам Вульфферт морганатическим браком помимо воли своего брата-государя и царицы-матери.

Супруге Михаила высочайше дана была фамилия Брасовой, даже без титула – знак исключительного неблаговоления.

В этом домике под черепичной крышей,

одноэтажном, наполовину выходявшем во фруктовый сад, жил раньше австрийский чиновник; может быть, судья, может быть, нотариус, может быть, полицейский комиссар. С наступлением русских чиновник эвакуировался в глубь страны, дом опустел и теперь занят великим князем.

Сегодня, кроме адъютантов и дивизионного священника, приглашен к завтраку еще и Юзефович...

Скромные закуски вытянулись на тарелках и блюдах от края до края между приборами: масло, сыр, ветчина, редиска, холодное мясо. Старый придворный лакей, бритый и важный, в серой тужурке с металлическими пуговицами, больше идущий к дворцовым анфиладам, чем к этой низенькой комнате, вместе с другим лакеем, помоложе, покрыл весь стол громадным куском кисеи. Так было уже заведено в летнее время: перед тем, как садиться, когда кисея из белой превращалась в черную, густо облепленную мухами, великий князь с одной стороны, а с другой кто-нибудь из адъютантов – ротмистр Абаканович или полковник барон Врангель – быстро и

ловко свертывали кисею, и все мухи попадали в мягкую прозрачную западню. Лакей уносил жужжащую кисею. Священник, обернувшись к иконе, читал молитву. Михаил Александрович занимал председательское кресло, и все рассаживались вдоль стола.

Так было и на этот раз.

И на этот раз, как и всегда, великий князь, по врожденной застенчивости своей, не овладевал разговором как старший по чину и по положению, а, вопреки этикету, к нему обращались и его занимали.

Священник с длинными, светлыми волосами и светлой бородой; выжав на сардинку пять-шесть лимонных капель, повернул инокописную голову свою к Михаилу.

– Ваше, императорское высочество, приходилось вам когда-нибудь встречать германского кайзера Вильгельма?

Бледное нежное лицо Михаиле вспыхнуло. Он всегда вспыхивал, с кем бы ни говорил, будь это даже простой всадник. Непонятная застенчивость в этом более чем светском человеке, атлетически сложенном, стальными пальцами своими рвавшем нераспечатанную

колоду карт и гнувшем монеты. Необычайную силу свою он унаследовал от отца, Александра III. Но, увы, не унаследовал отцовской силы воли и умения властвовать. Наоборот, у Михаила было отвращение к власти, а царственным происхождением он тяготился.

Священник, все еще держа горбушку лимона, ждал ответа на интересовавший его вопрос. Он случайно во время войны попал в высокие сферы и хотел узнать то, чего в обычных условиях никогда не узнал бы.

Михаил поднял глаза и как бы осветил всех мягким взглядом.

– В обществе императора Вильгельма я однажды, провел около трех часов, это было летом, кажется, в 1909 году. Я тогда путешествовал по Германии.

– Какое же впечатление он оставил о себе у вашего высочества? – спросил священник, весь обратившись в слух.

Михаил не сразу ответил. Ему не хотелось говорить дурно даже о том, кто сейчас воевал против России и был всегда врагом маленькой Дании, а следовательно, и царицы-матери как датчанки.

– Мое впечатление?.. Как вам сказать, ба-
тюшка, за эти три часа – это было на герман-
ском броненосце в Киле – император Виль-
гельм успел несколько раз переодеться. Я его
видел в штатском, видел в мундире немецко-
го адмирала и, наконец, в русской форме. Он
ведь был шефом Выборгского пехотного ар-
мейского полка.

– Фигляр, – тихо уронил мрачный Вран-
гель.

– Позер, – поддержал его ротмистр Абака-
нович с моложавым, почти юношеским ли-
цом.

– Хм... да... Очень даже легкомысленно для
такой высокой особы, – молвил священник.
Вошел Юзефович.

– А вот и Яков Давыдович! – сейчас только
вспомнил великий князь, что, прибор на-
чальника штаба оставался пустым. Юзефо-
вич, уже видевший утром Михаила, сказав,
как полагается: «Ваше высочество, разрешите
сесть», – занял свое место.

С его появлением как-то подтянулись и
адъютанты, и священник. Все они, побаива-
лись резкого и самостоятельного Юзефовича.

А тут он был еще не в духе и торопливо ел, поглядывая на часы.

Видя его нетерпение и угадывая, что он желает скорее остаться с ним с глазу на глаз, Михаил, как только был подан кофе, вставая, обратился к свите:

– Господа, не беспокойтесь... Я пойду с Яковом Давыдовичем в кабинет.

И высокий, стройный, легкой и в то же время упругой походкой он исчез и соседней комнате, и вслед за ним вошел и закрыл дверь Юзефович.

В домашней, не в боевой обстановке и начальник дивизии, и начальник штаба не носили кавказской формы. Юзефович был в английском френче, а великий князь в тонком парусиновом кителе с матерчатыми генеральскими погонами, в таких же парусиновых бриджах и в мягких желтых сапогах.

– Садитесь, Яков Давыдович. Вы чем-то озабочены? Дурные вести? – И ясные глаза Михаила встретились с татарскими глазами Юзефовича.

Начальник штаба ответил не вдруг. Да и нелегко было вдруг ответить. Из штаба армии

его известили: по сведениям армейской контрразведки, австрийцы готовят покушение на великого князя. По тем же сведениям, австрийским жандармам-добровольцам поручено убийство Михаила. Они должны с фальшивыми паспортами, переодетые в штатское, просочиться в Тлусте-Място.

Юзефович уже приказал всех мало-мальски подозрительных мужчин арестовать и выслать из расположения дивизии. Но этого мало, надо сделать ряд обысков, облав и принять особые меры к охране великого князя.

Он колебался, с чего начать – вопрос неприятный и щекотливый. И, как это всегда бывает у решительных людей, начал с первой пришедшей в голову мысли.

– Ваше высочество, вы гуляете вечерами по местечку. Я очень просил бы сократить, даже совершенно отменить эти прогулки.

– Это почему? – удивился Михаил.

– По моим сведениям, это далеко не безопасно. Могут, и не только – могут, а и... ну, словом, я очень рекомендовал бы вашему высочеству беречься! Это мы честно воюем, не прибегая к террористическим актам, а у

неприятеля все средства хороши.

– Что же, убьют меня, на мое место назначат другого...

– Но в данном, случае идет речь не о начальнике туземной дивизии, а о высочайшей особе, брате государя, – пояснил Юзефович, – надеюсь, ваше высочество обещает?

– Я ничего не обещаю! – возразил великий князь с твердостью, удивившей Юзефовича.

Как слабохарактерный человек, Михаил уступал ему во многом, но до тех пор, пока эти уступки не задевали повышенного чувства самолюбия и воинско-рыцарской чести, отвлеченной, не желающей считаться с действительностью. Михаил почел бы для себя за самое унижительное и постыдное прятаться от «каких-то убийц». И, кроме того, еще глубоко религиозный, он был уверен, что без воли Божьей с ним ничего не случится – особенный христианский фатализм, сходный с мусульманским. Юзефович увидел, что здесь ему не поставит на своем, не переспорит, не переубедит. Он только прибавил, сдерживаясь и боясь сказать лишнее:

– Должен поставить в известность ваше

высочество, что и днем, и ночью весь город и особенно местность, прилегающая к штабу и квартире вашего высочества, будут охраняться пешими и конными патрулями из туземцев.

– Лично был бы против, но это уже ваше право, Яков Давидович, и в этом я вам не помеха.

Лара заинтересована. Лара едет

– **Н**ет, Юрочка, милый, вы какой-то не настоящий!

– Почему же я не настоящий, Лариса Павловна? – обиделся Юрочка.

– Да потому! Сколько времени я вас не видела? Около двух лет? Больше! Вы тогда после своего лица высиживали в какой-то канцелярии, и у вас был глубоко штатский вид. Вы сутулились... Правда же, Юрочка! И у вас торчали вихры. А теперь эта кавказская форма... к вам подступиться страшно! Нет, все это ужасно, ужасно воинственно. Сил нет! Кинжал револьвер, сабля!..

– Шашка, – поправил Юрочка.

– Пусть будет шашка! Я ведь женщина

этих ваших тонкостей не знаю. Наконец, эти непокорные вихры, где они? Их нет и в ломкие Вы стали брить голову, как татарин. Какой ж вы настоящий?

– А может быть, тогда я и был не настоящий? – не сдавал своих позиций Юрочка. – Мой дед, генерал Федосеев – один из героев кавказских войн.

– А, вы хотите сказать, что в вас проснулся атавизм?

– А почему бы и нет? Право, обидно...

– Ну, ну, не обижайтесь, Юрочка! Нет, не шутя, я верю вам, да, да! В этой красивой форме, с бритой головой, вооруженный до зубов вы и есть настоящий Юрочка Федосеев.

Мы в Петербурге, у Ларисы Павловны Алаевой. В свете сокращенно звали ее Ларой. Это шло ее нерусскому типу – типу высокой гибкой брюнетки со своенравным, но притягивающим лицом – чуть-чуть косая линия губ чуть выдающиеся скулы, две продолговатые миндалины темно-кофейных глаз. Алаева – это по мужу, ныне покойному. Девичья же ее фамилия была Фручера. В итальянскую кровь давно обрусевших триентинцев Фручера из

поколения в поколение вливалась еще и греческая, и армянская, и русская, и еще какая-то восточная. И путем такого подбора создавалась экзотически-азиатская Лара, затмевавшая писанных классических красавиц. Ей очень к лицу было бы множество браслетов с цепочками и разными висюльками. Она знала это, но не носила, считая бьющим на дешевый эффект мовэ жанром. В обществе у Лары была репутация легкомысленной женщины, грешившей и при муже, и после мужа, но настолько искусно и с таким чувством меры, чтобы оставаться в этом обществе, быть всюду принятой и принимать у себя.

Она курила, забрасывала ногу на ногу и, не злоупотребляя, баловалась кокаином. Но все это было в ее стиле – и папиросы, и нога на ногу, и кокаин. Куренье не лишало ее женственности, ножки у нее были прелестные, а кокаин с «военной» распушенностью и поисками сильных ощущений приобретал все больше и больше права гражданства в петербургских салонах, в тылу и на фронте.

Лара не узнала Юрочку. Два года назад Юрочка не подавал никаких надежд. Вернее,

подавал надежды кончить дни свои бесцветным и тусклым чиновником, нажившим вместе с геморроем еще и чин тайного советника.

И, дымя папирской, наблюдая, как Юрочка откидывает широкие, длинные рукава черески, отчетливый в движениях и с обветренным лицом – оно темнее светловолосой бритой головы – Лара спросила:

– Но как же, Юрочка? Вас не позвали? Вы сами? Добровольцем?

– Добровольцем, – согласился Юрочка.

– Отчего это? Повоевать захотелось?

– Да, повоевать. И еще... – он как-то замялся, – еще любовь к родине.

– Любовь к родине? – сощурила восточные миндалины свои Лара. – Нас этому в институте не учили...

– И это очень плохо! – подхватил Юрочка. – И нас в лицее тоже не учили. Над патриотизмом смеялись не только левые, но и правые. И вот понадобилась война, и какая война, чтобы всколыхнуть это чувство! У одних спавшее, а у других... – и, не кончив, махнул рукой: вместе с широким книзу рукавом она походила на крыло птицы.

Лару нельзя было назвать недалекой женщиной, Но она не жаловала отвлеченных бесед.

– Какой на вас чин, Юрочка?

– Я, я, видите ли, прапорщик, – сконфузился он за свою одинокую звездочку на погонах, – но через два-три месяца, если, конечно, ничего особенного не случится, я буду произведен в корнеты.

– Корнет звучит гордо, – улыбнулась Лара. – Но, кстати, в какой части вы служите? Что-то вроде казаков?

– Лариса Павловна, да вы откуда? С луны? – всплеснул руками негодующий Юрочка. – Неужели вы не слышали про славную туземную кавказскую конную дивизию?

– Ах, это! – спохватилась Лара. – Так бы и сказали! Конечно, слышала: Дикая дивизия? Там у вас Напо Мюрат?

– И Мюрат... И вообще, ничего подобного вы не найдете во всей армии. У нас и рыцари долга, и чести, и кондотьеры, и авантюристы, и все те, кого, как хищников, привлекает запах крови. А наши всадники? Эти горцы, идущие на войну, как на пир, на праздник! А на-

ша молодежь с девичьими талиями и с громадными, влажными черными глазами газелей? А сухие старики, увешанные Георгиями еще за Турецкую войну и служившие в конвое императора Александра II? Им уже за семьдесят, «о какие бойцы, как рубят, какие наездники! У нас есть один пожилой всадник. Он командовал чуть ли не всей персидской армией. Ингуш Бек-Боров. Он красит бороду в огненный цвет...

– Как это интересно! Что-то нероновское. А ногти красит?

– Ногти? – опешил Юрочка. – Этого я не заметил. Но не разболтался ли я? Вам не скучно?

– Нисколько! Все это так ново! И нравы, должно быть, тоже особенные?

– О, еще бы! Совсем другой мир! В каждом полку свой мулла. Священник, – пояснил Юрочка. – Мулла весь в черном, а его папаха обернута зеленым. Цвет знамени пророка. Вот в черкесском полку мулла ученый, побывавший в Мекке. Его папаха обернута белым. Каждый мулла на позициях со своим полком и, как у всех, у него винтовка, кинжал и шаш-

ка. Хоронят убитых они, не обмывая, как у нас, христиан, а как застала его смерть, со следами крови, в полном вооружении и в боевой черкеске, чтобы на том свете видели все, какой это был доблестный джигит и какой славной смертью он Погиб. У наших мусульман считается великим бесчестьем покинуть павшего товарища на поле сражения. Он должен быть похоронен своими же и по своему обряду. Бывали случаи, горцы под адским огнем, теряя людей, вытаскивали и уносили труп всадника своей сотни...

– О, да это совсем романтично! – вырвалось у Лары.

– Еще бы! Это сплошная романтика! Это нельзя рассказать, это надо видеть! Знаете что, Лариса Павловна, приезжайте к нам погостить. Только скорее, пока у нас затишье и нет боев. Я послезавтра возвращаюсь в полк. Хотите, вместе поедем? Здесь, в Петербурге, вы все живете сплетнями, скучаете, томитесь, а там – настоящая жизнь. И как будут вам рады! Какие перспективы интересного флирта! Мы по месяцам не видим интересных женщин...

– Юрочка, еду! Вы меня зажгли!.. Но только в качестве кого же? Ехать так, просто – неудобно. Неудобно, хотя у меня, кроме вас и Напо Мюрата, найдется очень много знакомых. Выдумайте что-нибудь!

– Есть! Выдумал! Привезите подарки нашим всадникам. Их никто не балует. Они за малейшее внимание будут так признательны! Кликните клич между своими благотворительницами. Среди этих дам есть жены генералов и офицеров Дикой дивизии. Накупите несколько тысяч папирос, два-три ящика шоколаду, бисквитов, мыло, иголки, нитки. Вот вам и подарки!

– Идея, Юрочка, идея! Сейчас же открываю огонь по всей телефонной линии!

Политический авантюрист

Карикозов вышел вместе с дивизией с Кавказа. Там, когда он просился в дивизию, он клялся, что он такой фельдшер, каких немного во всей русской армии. На самом деле все его медицинские познания сводились к умению кое-как делать перевязки, да еще кое-как примитивно лечить одну весьма распространенную солдатскую болезнь.

Карикозов прибыл на фронт с громадным кинжалом. Его спрашивали:

– Ты же фельдшер, зачем тебе такой большущий кинжал?

– Ваше сиятельство, – Карикозов величал всех офицеров «вашим сиятельством», знал, что в дивизии много князей и графов, – ваше сиятельство, фельдшер, не фельдшер, а немец этим кинжалом буду резать! – И при этом он корчил зверскую гримасу, скалил зубы, а его хриплый голос переходил в низкое рычание.

Но Карикозов, столь храбрый на словах, оказался отчаянным трусом. Как сотенный фельдшер, верхом на коне, должен был он

следовать за своей сотней до передовых позиций включительно. Но при пулеметном и ружейном огне, даже отдаленном, у фельдшера отнимался язык и его насквозь прошибало холодным потом, обалделый, беспомощный, с трясущимися руками, трясущийся весь, могли он исполнять свои обязанности? Ингуши – он попал в ингушский полк – презирали его, как только может презирать кавказский горец отчаянного безнадежного труса. В глазах горца даже средняя доблесть не имеет особенной цены, именно потому, что она – «средняя».

Эти же самые ингуши, да и не только ингуши, а и чеченцы, кабардинцы, когда их сажали в окопы, свое окопное сидение считали великим бесчестьем:

– Это баба прячется в землю. Джигит не должен прятаться. Джигита дело – в атаку ходить, и не пешим, а конным!

И действительно, в короткой боевой истории Дикой дивизии был целый ряд конных атак, изумительных по своей красоте и лихости.

Карикозов устроился в дивизионном лаза-

рете. Это уже в тылу, и там уже не вгоняли его в озноб и онемение трескотня винтовок и захлебывающееся «таканье» пулеметов.

Кому он завидовал – это санитарам. Они первые подбирали убитых и тяжелораненых, а потом, глядишь – у одного санитаря золотой портсигар, у другого туго набитый бумажник, у третьего дорогой хронометр. Но даже и для того, чтобы сделаться двуногой гиеной, мародерски грабящей трупы и полутрупы, даже для этого у Карикозова не хватало нервов, ибо санитары обязаны работать не только после боя, но и во время самого боя, а в таких условиях от шальной пули далеко не всегда уберешься.

Но Карикозов утешился. И здесь, в безопасном тылу, он умудрился торговать спиртом, коньяком и, как мы уже знаем из его беседы с обладателем ястребиного профиля, кокаином. Этот белый порошок лазаретный фельдшер тайком поставлял некоторым офицерам своей же дивизии. Клиентами его были – барон Шромберг, вскоре убитый на дуэли, ротмистр Коваленский и трое братьев Штукенбергов из Татарского полка. А в лице нового хозяина цу-

керни «Под тремя золотыми львами» Карикозов приобрел еще одного выгодного клиента.

Этот клиент, всегда готовый к тому, что его могут повесить, должен был взвинчивать себя наркотиками. Вообще, это был замечательный человек.

Настоящая фамилия его барон Сальватичи. Но он менял ее на другие фамилии, менее звучные и более скромные.

Типичный австрийский авантюрист, где надо – военно-политический эмиссар, где надо – военно-политический шпион.

Он служил в первом боснийском полку венского гарнизона и пробыл в нем около двух лет. Боснийский полк он выбрал, во-первых, потому, что считалось шикарным носить феску и командовать солдатами гигантского роста, а затем он хотел научиться сербскому языку. Все эти великаны в широких балканских шароварах и куцых куртках, одним видом своим вызывавшие восхищение экспансивной венской толпы, были сплошь сербы из горной Боснии. Ни на каком другом языке, кроме своего, не говорили смуглые, сухощавые красавцы в алых фесках. Они знали

только шестьдесят-семьдесят командных немецких слов.

Через два года лейтенант Сальватичи вышел в запас и неофициально зачислился в тайную агентуру генерального штаба Его командировали в Албанию. Он имел в своем распоряжении довольно большие деньги для подкупа албанских вождей и князьков. Кроме денег, он снабжал их еще и оружием. Оно доставлялось на пароходах «Австрийского Ллойда» и выгружалось в таких глухих и пустынных гаванях, как Сан-Джованни ди-Медуа.

Албанские четы делали набеги на сербскую территорию, а Сальватичи, организатор этих набегов, получал признательность не только от своего генерального штаба, но и от министерства внутренних дел. Он входил во вкус своего авантюристического амплуа. Никакая служба в строю, особенно в малых чинах, не может дать ни таких денег, ни таких впечатлений, ни такой власти. А какой простор для собственной инициативы!..

И он уже хотел большего, чем натравливание арнаутских банд на границы ненавистой Сербии.

Убедившись, что за внешней политикой есть еще и другая, тайная, более могущественная, он убедился в существовании сил, не связанных ни каким-либо правительством, ни территорией, ничем!

Эти силы – масонство, делающее политику, политику в мировом масштабе. И, оставаясь агентом Вены, Сальватичи сделался еще агентом масонских лож.

Ложам необходимо было вызвать великие потрясения. Им хотелось для этого общеевропейской войны. Хотелось сравить Австро-Венгрию и Россию и этим вовлечь в «игру» все великие державы. Но было препятствие в лице наследного эрцгерцога Франца Фердинанда, убежденного поборника добрососедских отношений с великой Россией.

Он высказывал:

– Только мирное сожителство двух империй – католической Австрии и православной России может дать прочное спокойствие Европе.

Так думал Франц Фердинанд, но его масонские ложи думали иначе. В их планы входило именно разрушение католической Австрии и

православной России.

Но так как наследный эрцгерцог еще при жизни дряхлого Франца Иосифа взял всю полноту власти, его надлежало уничтожить.

В хитрый и сложный клубок сплетались события, вожделения и замыслы. Планы мasonicких лож сходились с планами Германии и с аппетитами военной австрийской партии, мечтавших о победных лаврах и ненавидевших Франца Фердинанда и Россию.

Барону была поручена техническая сторона ликвидации эрцгерцога, и двое экзальтированных сербских юношей, осуществляя сараевское убийство, до конца дней своих не сомневались, что собственной волей творили национальное дело освобождения Родины.

Выстрелы, прозвучавшие на узких, живописных улицах Сараева, были сигналом к чудовищной, небывалой мировой бойне.

С войною в руках Сальватичи – его очередной псевдоним был Руммель – сосредоточились нити разведки Галицийского фронта.

Глава с неожиданным окончанием

Карикозов делал обычный доклад свой, как всегда, ночью, и, как всегда, на животе его нелепо и ненужно висел большой кинжал.

Фельдшер волновался и от желания угодить, и от сознания, что сейчас откроет что-то действительно очень важное. Еще не успел начать, а уже лицо с двумя «разными» половинами и носом-картофелиной пришло в движение.

– Этот черт Юзефович! Все знает, татарски морда! Я вам такое сейчас сказал, такое... – тянул фельдшер, прикидывая, сколько он за это свое «такое» получит?

Сальватичи перебил:

– Говорите же, наконец, в чем дело?

– А в том дело: секретки телефон искать будет. Татарски морда приказ отдавал: все местечко обыск делать, все подвал! Потому – донесение есть... У кого найдут, все семейство вешать будут!

Последнее Карикозов прибавил уже от себя, чтобы взять Руммеля «на испуг». Но взять этого человека «на испуг» было трудно. Рис-

ковать своей головой вошло у него едва ли не в привычку. Но и он заволновался: помятое лицо, лицо с печатью многих излишеств, пошло судорогой.

– Уходите, уходите сейчас же! Фельдшер не уходил, выразительно глядя на так хорошо знакомый ящик письменного стола.

– Да! – вспомнил Руммель. – Вот вам пятьсот рублей. Уходите же!

– Еще маленький прибавочка... Первый сорт новость! Большой новость!

Дав «прибавочку», Руммель выпроводил назойливого агента.

Оставшись один, тяжело перевел дух. И – так всегда! И сам он, и все его хитросплетения висят на тоненькой, тоненькой ниточке. Один только миг – не учтешь его, не предусмотритишь – ниточка обрывается, и все вместе с ним, Сальватичи, летит в бездну! А уйти, перестроить свою жизнь на другой, более спокойный лад – уже нельзя. Уже все в нем отравлено ядом. Этот яд – и спортивное чувство, и почтя полная самостоятельность, и азарт, опьянение риска, и возможность искупать жуткие минуты страха такими насла-

ждениями, цена коих недоступна при всякой другой службе...

И, сжав руками сидящие виски, он постоял немного. Воображение, подхлестываемое безграмотной, несвязной речью шпиона, рисовало ингушей, с диким криком ворвавшихся в подвалы, рисовало виселицы и на одной из этих виселиц... Сальватичи взял пакетик с белым порошком, высыпал щепотку на твердый ноготь большого пальца и хищной, тонкой ноздрей втянул...

Заколыхавшись, страшные виселицы исчезли... Бодрый, легкий, не чуя собственного веса, взяв из потайного ящика ключ, спустился он в подвал, заставленный бочками, ящиками и всяким хламом. Вспыхнуло электричество.

Сальватичи нажал замаскированную кнопку. Бесшумно, медленно отделился квадрат стены» обнажив телефонную сеть с полированной доской, с зелеными шнурами, с металлическими дырочками и штепселями. Что-то сухо защелкало. Опытной рукой вставлялись и вынимались штепселя. Отдавался ряд приказаний на немецком языке с певу-

чим венским акцентом. И все это бежало по синим шнуркам, и по этим же синим шнуркам возвращались ответы. Опасность предотвращена. Тоненькая ниточка остается такой же тоненькой, но, пожалуй, сегодня она не оборвется... А дальше, дальше люди профессии капитана Сальватичи не заглядывают – бесполезно!

Квадрат стены плавно вернулся на свое место.

На другой день капитан Сальватичи, уже как пан Руммель, новый хозяин цукерни, присаживался к своему директорскому столу возле буфета, наблюдал за двумя лакеями, за блондинкой-буфетчицей и за гостями – все сплошь военными, офицерами Дикой дивизии, гродненскими гусарами, гвардейскими уланами. Эти два полка из Варшавы занимали позиции бок о бок с туземцами.

Русская речь, пересыпанная французскими фразами, гортанный говор грузин и горцев. Папиросный, сигарный и трубочный дым. Коричневые и серые черкески, щеголеватые френчи гусар и улан, звон шпор, щелканье бильярдных шаров...

Все столики заняты, но никто не пил ни шоколаду, ни чаю – всего того, что потреблялось из года в год здесь под вывеской, наполовину смытой дождями, вывеской с туманным намеком на трех львов. Пили коньяк, венгерское, старый мед и старый маслянистый бенедиктин.

Вошли новые гости, два «ингуша» – ротмистр Тугарин с Георгиевским крестом и поручик Джемарджидзе, красивый типичный грузин, служивший сначала в пехоте, затем в опереточной труппе. Небольшой, но приятный и мягкий тенор внушил Джемарджидзе мысль променять полицейский мундир на огни рампы. С войной опереточный тенор был призван в армию.

Служба в полиции научила его как-то особенно присматриваться к людям. Это уже было что-то профессиональное, чего не могли вытравить ни подмостки театра, ни черкеска офицера Дикой дивизии. И когда Тугарин и Джемарджидзе подъехали верхом к цукерне и сдали лошадей вестовым ингушам, по горскому обычаю засунув нагайки за пояс, на спину, Джемарджидзе сказал:

– Понимаешь, Тугарин, этот хозяин кофейни внушает мне... как бы тебе сказать... подозрение.

– В каком смысле?

– Не агент ли австрийский?

– Ну вот! Тебе всюду мерещатся шпионы, – улыбнулся Тугарин.

– Глаз имею, нюх имею! Джемарджидзе, как Патэ-журналь: все видит, все знает.

Они вошли в цукерню. Не только свободного столика, но даже присесть негде. Все облеплено до отказа и своими, и «соседними» уланами и гусарами.

Тугарин, невыдержанный и горячий, вспыхнул:

– Что за безобразие! Сейчас подать столик!

Вид высокого, мужественного, увешанного оружием офицера вогнал в панику обоих лакеев, и они беспомощно заметались. Беспомощно, так как запасного столика не было, а если бы даже и был, то за полным отсутствием места его негде было бы поставить.

– Где ваш хозяин? Позвать его! – и уже в бешенстве Тугарин выдернул из-за спины нагайку.

Побледневший лакей метнулся в глубь квартиры, и через полминуты к Тугарину подошел улыбающийся пан Руммель.

– Что прикажет господин ротмистр?

– Я требую столик. Какой вы хозяин? Где вы пропадаете? Ваше место здесь!

– Господин ротмистр, вы сами видите...

– Вижу, что вы наглец! – с перекосившимся лицом выкрикнул Тугарин так оглушительно, что все смолкло кругом и биллиардные игроки с киями поспешили в зал.

Лицо пана Руммеля приняло гневное, хищное выражение, какие-то желваки заходили под кожей углов рта и скул, но тотчас же все это сменилось чем-то медовым, искательным:

– Господин ротмистр, не моя вина, если...

Он не успел договорить.

– А, не твоя вина! Не твоя... – исступленно повторил Тугарин и, взмахнув нагайкой, так ударил по лицу пана Руммеля, что вдоль щеки легла багровая полоса.

– Что ты делаешь! – воскликнул Джемарджидзе. Но было уже поздно.

Пан Руммель даже не дрогнул, даже не отступил, даже сохранил медовую улыбку.

Только взгляд его, злой, полный убийственной ненависти, выдавал его. Хватило даже силы воли сделать полупоклон, после чего, не торопясь, он удалился туда, откуда только что пришел.

Вечером, не дожидаясь ночи, а как только стемнело, с опаской да оглядкой, черным ходом проник Карикозов к Руммелю.

Фельдшер сначала хотел было посочувствовать, но барон со вздутой на щеке полосою остановил его:

– Не надо! У вас есть что-нибудь новое?

– Есть новая, очень многа новая, – захрипел Карикозов. – Юзефович, татарски морда, приказал подписать на ваша арест. Ночью всадники конвоя с один офицер придут за тобой, – сказал фельдшер и поправился: – За вами.

И умолк, подбоченившись. Сейчас он уже не был подобострастным. Какой смысл заискивать перед тем, кого через несколько часов могут повесить и от кого не будет уже никакой пользы?

Карикозов ожидал, что пан Руммель испугается, задрожит. Но пан Руммель был споко-

ен, может быть, даже слишком спокоен. Это повергло фельдшера сначала в недоумение, а потом в чувство какой-то злобы.

Он высказал вслух затаенную мысль:

– Вот Карикозов какой! Кто тебе предупреждение дал? Карикозов. Кто жизнь спасал? Карикозов. А что с этого Карикозов будет иметь? Карикозов остается без работа и без деньги.

Улыбнувшись, пан Руммель в тон ответил ему:

– Карикозов не останется без работы и без денег. Видите это железное кольцо? К вам с этим кольцом подойдет человек, и вы будете работать с ним, как работали со мной.

– А сейчас? – перебил фельдшер, изнемогая от жадности.

– А сейчас это! – и, дав ему две пятисотрублевки, пан Руммель прибавил. – Уходите! Мы еще встретимся!

Ее первый роман с тринадцатью письмами

Дам неохотно пускали на фронт, если это не были сестры милосердия. Командующие армиями и те почти не разрешали своим женам погостить у себя в штабе. Генерал Брусилов за все время войны так и не пустил свою жену не только к себе в штаб, но и в расположение своего фронта.

Ларе не удалось бы попасть в Дикую дивизию, если бы не два обстоятельства. Первое – следуя мудрому совету Юрочки Федосеева, она привезла несколько ящичков с подарками. Второе же, главнее всех подарков – Михаил Александрович знал не только самое Лару, но знал и брата ее покойного мужа, и ее собственного брата, Сергея Фручера.

Константин Алаев – сослуживец Михаила посиним кирасирам, Фручера же – сослуживец по гвардейской артиллерии. Когда, обвенчавшись с Натальей Брасовой, великий князь жил перед войной в полуопале, полуизгнании в Ницце, Сергей Фручера каждую неделю посылал ему из Петербурга солдатский ржа-

ной хлеб и несколько фунтов гречневой крупы. На чужбине Михаилу, с его простыми здоровыми вкусами так не хватало черного хлеба и гречневой каши. С милой, застенчивой улыбкой он вспоминал все это, принимая Лару у себя. Он до того растроган был охватившими воспоминаниями – даже проявил несвойственную ему твердость, когда Юзефович заявил, что следовало бы попросить барыню о немедленном возвращении в Петербург, и что здесь ей не место.

– Нет, Яков Давыдович, пусть она поживет несколько дней. Тем более, что она ведь привезла нашим всадникам гостинцы.

– Но ваше высочество, штаб армии категорически запретил появление на фронте частных лиц.

– Это запрещение не может касаться моих гостей, – последовало возражение, и это «моих гостей» было произнесено так и с таким ударением, что много себе позволявший, властный начальник штаба умолк. И уже совсем прикусил язык», вспомнив, что со дня на день приедет его жена. А перед ней он пасовал, и это маленькое, бледное существо дер-

жалю в руках темпераментного, резкого татарина-мужа.

Лара осталась. Ей реквизиировали комнату в гостинице. Показать ей все, что можно было показать, высочайше поручено было командиру Черкесского полка князю Александру Чавчавадзе. Наилучший выбор. Чавчавадзе был очень светский и любезный человек, и в походной обстановке державшийся, как в салоне.

В дни затишья он обладал искусством делать жизнь удобной, веселой и приятной. В Черкесском полку, был хор трубачей, едва ли не единственный в дивизии. Все остальные полки пробавлялись зурначами. Но и у Саши Чавчавадзе были зурначи, опять-таки лучшие.

После Петербурга все было здесь для Лары так ново и ярко. Эти обеды под открытым небом в тени вишневых садииков, обеды без тыловых пересудов и сплетен о царской семье, за последнее время отравивших своим ядом все петербургское общество.

Эти офицеры в черкесках, смотревшие в глаза смерти, совершавшие подвиги и, кто

знает, что ждет их через несколько дней в этих же самых равнинах бегущего, живописного в капризных извилинах своих Днестра.

А эти ночи с яркими звездами и заревами где-то далеко пылающих деревень? Эти цветные ракеты австрийцев, чертящих зеленые и красные зигзаги на фоне, темных глубоких небес?

Эта повседневная жизнь фанатически покорных судьбе туземцев. Эти острые пики, прислоненные к соломенным крышам Низеньких халуп. Гортанная, непонятная речь смуглых всадников, запах лошадей и кожаных седел, запах и дым костров... Вечерняя молитва, когда разостлав свои коврики, обратившись на восток, коленопреклоненные туземцы, качая головами и закрыв глаза, сосредоточенные до экстаза, шепчут слова Корана... Лара впитывала в себя все это и, сама не отдавая себе отчета, ощущала если и не перерождение, то, во всяком случае, какое-то освежающее обновление...

Эти мусульмане, ингуши и черкесы, не говорившие по-русски, учили Лару тому, чему ее не учили в Смольном институте. Учили

любить Россию, такую необъятную, таинственную, сумевшую создать эти горские полки, разноплеменные, разноязычные. И они идут в бой за нее, за Россию, идут как на праздник, и так же празднично, без мук и сомнений умирают за нее.

И то, чего не сделали годы светской жизни в Петербурге и за границей, то удалось сделать несколькими дням в прифронтовой полосе. Под настроением бесед о войне и веры в победу, под настроением этих молившихся с заходом солнца воинственных горцев, под настроением большого и важного, с чем она так близко соприкоснулась и что совершается не только здесь, на маленьком участке, но и на фронте в тысячу верст, Лара углубилась в себя и сделала какую-то переоценку...

Повторяем, это не было перерождение, Не явилось вдруг желание подвига хотя бы сестры милосердия, отдавшей себя целиком заботам о раненых, но явилось желание стать чище и лучше. И опять-таки, не путем аскетического удушения в себе женщины – это никому не нужно и прежде всего ей, Ларе, – а просто она увидела, что надо быть разборчивее, менее

распущенной и не только отдаваться, увлекаясь, а то совсем и не увлекаясь, а полюбить, по-настоящему полюбить. Да, эти звездные ночи, эти буковые леса над застывшей холодной сталью сонного Днестра, эти зарева далеких, почти мистических пожаров – все это будило душу, сливаясь в один захватывающий порыв. И, с презрением к самой себе, она вспомнила свой последний роман с вылощенным, надушенным и лысым капитаном генерального штаба. Он «воевал» в Петербурге, окопавшись в своем кабинете под монументальной аркой, на Дворцовой площади. Он питал брезгливое отвращение к войне, к тому, что переживала Россия, и ко всему, что не было спокойным комфортом, узко эгоистическим окружением его великолепной особы.

И потому, что этот капитан, вылощенный и ледяной, был ее последним «капризом», она вспомнила свое первое увлечение другим капитаном генерального штаба, высоким, с плебейским лицом и с тонкими аристократическими руками. У него были голые, без ресниц, какие-то белые глаза. И когда, много лет спустя, она вспоминала эти глаза, дрожь отвра-

щения охватывала ее.

Окончив институт, она приехала на лето к отцу, губернатору в юго-западном крае. В этом городе служил капитан генерального штаба Нейер. Он имел репутацию опытного развратника. Вчерашняя институтка, гибкая, матовая, с миндалинами темных глаз, не могла не привлечь его благосклонного внимания. Рядом с нею губернские дамы, сердца которых он пожирал без остатка, показались ему вульгарными и, кроме этого, Лара была еще невинна. Он влюбил ее в себя. Она бегала тайком к нему на холостую квартиру и писала безумные письма.

Нейер холодно развращал ее, и так это продолжалось около двух месяцев. А потом приехал ревизовать губернию видный петербургский чиновник Алаев. Губерния оказалась далеко не в порядке, Алаев же оказался богатым человеком с отличной карьерой не только в настоящем, но и в будущем.

Алаев заметно увлекся губернаторской дочкой. Отец сказал ей:

– Если ты откажешь Алаеву, я погиб! Да и сам по себе Алаев завидная партия.

К этому времени чувственная любознательность Лары – она принимала ее за высшую влюбленность – успела остыть. Больше того, Лара успела возненавидеть грубого циника, не пытавшегося даже, хотя бы девичьих иллюзий ради, обвеять свои отношения хотя бы дымкой поэзии, хотя бы красивой ложью.

И еще до приезда Алаева она прекратила посещения «гарсоньеры» Нейера.

Он бесился, бесился от неугасшей похоти и оскорбленного самолюбия.

Лара хотела спасти своего отца от позорной отставки, да и вполне согласилась с ним, что Алаев действительно завидная партия. Алаев, красивый тридцативосьмилетней правед, был симпатичен ей и как мужчина, и как симпатичный собеседник. И вот она его невеста, а через месяц-другой и его жена. Но для этого необходимо порвать с прошлым и потребовать у Нейера безумные, компрометирующие письма.

Вот когда уязвленный самец увидел, что Лара все еще пока в его власти.

– Вам угодно получить ваши письма, очаж-

ровательное дитя мое? – спросил он с висельнической улыбкой белых глаз.

– Надеюсь, что вы как порядочный человек...

– Милая моя, полноте вам! Какая там порядочность? Тем более к вам, так вероломно забывшей дорогу ко мне? Какая неблагодарность! Я вам открыл, можно сказать, врата. Эдема, научил таким наслаждениям и ласкам. Но не будем предаваться лиризму, ближе к делу! Вот вам мой ультиматум: ваших писем у меня тринадцать. Фатальная цифра, кстати! За каждым из них вы будете приходиться ко мне и, уходя паинькой, будете получать по одному... Тринадцать визитов. Право же, мы не будем скучать.

– Вы... вы чудовищный негодяй! – бешеная ненависть душила Лару. Она глаз не могла поднять на него, так он был ей омерзителен.

– Ха, ха, ха! – рассмеялся Нейер. – «Чудовищный негодяй!» Но я не из обидчивых. Да и что такое негодяй? Понятие весьма растяжимое. И разве вся человеческая мораль не растяжима как гуттаперча? На одной точке земного шара почитается злом то, что на другой

точке люди называют добром. Но не будем вдаваться в философию. Говорю вам ясно и просто: если вам не угодно получить ваши письма в порядке, мною начертанном, я их все запечатаю в один конверт и отправлю вашему жениху в качестве... ну, свадебного подарка, что ли. Вы девица неглупая и можете учесть все последствия одного свадебного подарка. Итак – либо-либо? Ваша честь в ваших собственных руках.

Лара получила свои тринадцать писем от Нейера, получила ужасной, незабываемой ценой, и той же осенью обвенчалась со статским советником Алаевым.

На поляне и за столом

Для всей дивизии подарков не хватило бы. Да и кроме того, полки Чеченский, Кабардинский, Татарский и Дагестанский находились в стороне от «большой дороги».

А большая дорога начиналась штабом дивизии и кончалась штабом бригады полков Ингушского и Черкесского.

Эта дорога была дорогой Лары, и по ней носился ее автомобиль, весьма неохотно предоставленный Юзефовичем «этой петербургской барыньке».

В душе Саша Чавчавадзе хотел, чтобы все подарки достались его черкесам, но это было бы неловко по отношению к соседям-ингушам, а такой неловкости дипломат Чавчавадзе никогда не допустил бы.

Он совещался с абхазцем, полковником Мерчуле, командиром ингушей, как обставить это маленькое событие в жизни бригады. Мерчуле, тихий, скромный, избегавший всякой помпы, ответил:

– Да что ж, князь, раздадим как-нибудь, да и все тут.

Но Чавчавадзе, неравнодушный ко всему декоративному, восстал:

– Должна быть торжественность. Необходимо подхлестывать их восточное воображение. Хор трубачей. Всадники должны быть одеты празднично. В первую голову одарить вахмистров, унтер-офицеров и всадников по старше.

– Тех, которые меньше всего нуждаются...

– Да! Но важен престиж! Здесь главный принцип – охранение старшинства. Это именно в духе туземцев.

– Пусть будет так, – покорно согласился Мерчуле.

Меж вековых дубов, на пышной изумрудной поляне толпа офицеров окружила свою гостью и раскрытые ящики. Оба полка в новых парадных черкесках и в цветных башлыках – ингуши в синих, черкесы в красных – выстроены были по сотням. В ясном солнечном воздухе далеко разносились чистые прозрачные звуки ослепительно сверкающих медных труб. Марши сменялись «Вещим Олегом» и популярной песенкой «На солнце оружием сверкая». И трубачи, и эффектные кра-

сочные пятна – стройные ряды всадников в черкесках, башлыках и папахах, и нарядная группа начальства с красивой молодой женщиной – все это создавало столь желанное для Саши Чавчавадзе праздничное настроение.

По программе первые одаривались те, у кого были нашивки, Георгиевские кресты и седые бороды.

Надо было видеть, какой радостью вспыхивали глаза этих Георгиевских кавалеров – конвойцев еще Александра II – когда из рук прелестной ханум они получали кто пачку папирос, кто кусок мыла, кто плитку шоколада или катушку ниток. Не пустячным подарком, а вниманием овладевала ханум сердцами этих сухих, обветренных бойцов, отмеченных шрамами трех войн и служивших при трех императорах.

Это чувство сообщалось Ларе, и она сияла вся, и казалось ей, что лучших минут еще не было в ее жизни и они останутся незабываемыми. И было еще сознание, что она привлекательна и ею любят и окружающие офицеры, и те, кого она как добрая фея дарит сво-

им женским приветом на залитой солнцем поляне, среди исполинских дубов. И это было безыскусственно просто в таком слиянии с девственной мощной природой.

Восторженный Юрочка Федосеев был на седьмом Небе.

Когда к Ларе подошел всадник с горбоносым профилем к огненного цвета бородой, Лара смутилась. Так вот он, этот самый Бек-Боров, главнокомандующий персидской армией с крашеной бородой, о ком с восхищением вспоминал Юрочка в ее петербургской гостиной!

Лара невольно растерялась. Что можно дать этому воину с его нероновской бородой, когда персидский шах оплачивал его службу пышными самоцветными камнями? И после этого – коробка габаевских папирос или кусок варшавского мыла...

Подоспел Юрочка. Он сам волновался не менее Лары. Он вынул из ящичка и подал ей большую, в полфунта, пачку душистого табаку.

Положение было спасено. Наградой гибкой, как пальма, ханум был блеск семидеся-

тилетних и все еще молодых, огнем горящих глаз. И старый всадник так гордо отошел со своим подарком, как если бы в этой пачке заключались все сокровища шахской казны.

Стариков сменила молодежь. В юных улыбках белые зубы освещали и смуглые лица, и персиковые бледно-матовые, и коричневые, как бронза.

Чавчавадзе говорил Алаевой:

– Вы завоевали, покорили наших всадников бесповоротно и навсегда! Нет на свете подвига, который каждый из них не совершил бы за вас и для вас!

Чавчавадзе не был бы Сашей Чавчавадзе, если бы не ознаменовал этот день большим обедом у себя, во дворе крестьянской усадьбы, отведенной под его штаб.

Торжественного случая ради были приглашены гости из других полков. Возле крытой соломой галицийской халупы, за деревенскими узенькими столами собрался букет громких имен и титулов, возможный лишь при таких исключительных условиях, как война.

Рядом с единственной дамой Чавчавадзе посадили старшего по чину гостя – генерала,

персидского принца Юзула-Мирза из древней династии Каджаров. Черный, как только может быть черен перс, принц Фази, так называли его сокращенно, считался отличным боевым кавалерийским генералом. Даму свою он занимал на французском языке, свободном и бойком, но с сильным восточным акцентом: Под гул веселых голосов, под звон посуды и стаканов, под замиравшие тосты знакомил принц Фази свою даму с теми, кто, по его мнению, заслужил внимания. А внимание его можно было заслужить только военной доблестью.

Сначала, как всегда в новом обществе, для Лары все были на одно лицо: мужчины в папах. Да, в папах, ибо в подражание горцам, за трапезой под открытым небом офицеры Дикой дивизии не снимали своих головных уборов.

– Этот блондин с открытым лицом...

– Я его знаю, знаю давно, – откликнулась Лара, – это принц Мюрат.

– Вы его знаете по вашим петербургским салонам, – последовал ответ, – но вы не знаете, какой это офицер! На двенадцать баллов!

Я был с ним на японской войне, а теперь вместе бьем австрийцев. Между двумя войнами мы проходили курс офицерской кавалерийской школы. Какое богатырское здоровье! Мюрат кутит напролет всю ночь, утром возвращается к себе на квартиру, выпивает стакан молока, берет холодную ванну, прямо в манеж и целый день работает, не слезая с седла. Так заматывает самых сильных гунтеров, что от них только пар идет... Это школа! Такие офицеры создавали и создают русскую конницу, единственную в мире. А на японской войне? Получив сквозную рану в шею, он без перевязки идет в атаку и опрокидывает японские эскадроны. Уже здесь, в Карпатах, он спасает положение всей бригады, почти отрезанной, когда на лямках ему были поданы пулеметы...

– Как это на лямках? – не поняла Лара.

– Он с горстью своих людей находился на такой круче – подняться к нему никакой возможности не было! Тогда Мюрат приказал спустить длинные-длинные веревки, и на этих веревках его люди подтянули пулеметы. Из них он открыл огонь – австрийцы бежали

В панике!

– Да, все это необыкновенно и так захватывающе! – вырвалось у Лары. – Слушая ваше высочество, жаждешь сама чего-то необыкновенного! Как это все красиво! Решительно все! Но вы ничего не говорите о себе, а у вас Георгиевский крест, отличие храбрых и смелых.

– Это не более, как очередная награда, – молвил Фази, не терпевший говорить о себе.

– А вот смотрите, влево от Мюрата, как и он, такой же жизнерадостный, штабс-ротмистр Тапа-Чермоев, бывший офицер собственного его величества конвоя, а теперь адъютант Чеченского полка. Тапа сам чеченец и пользуется большим влиянием среди чеченцев. Недавно Чермоев выкинул номер. Среди бела дня, увлекшись разведкой, не заметил, как очутился буквально в пятидесяти шагах от окопов противника. Эта дерзость так ошеломила австрийцев, они даже не стреляли, а уж чего выгодней мишень: всадник в полсотне шагов. Чермоев не был бы горцем, если бы, заметив свою оплошность, бросился наутек. И он сделал так же лихо, как делали

его предки чеченцы в борьбе с русскими. Он задержал коня и, молодецки заломив папаху, посмотрел на ошеломленных австрийцев; а потом с гиком, стегнув коня плетью, взвил его на дыбы, и, повернув, как на оси, с места понесся карьером назад, к своим. И это было так ошеломляюще – ни одного выстрела вдогонку. Нет, клянусь Богом, это была картина... Я был в полуверсте и наблюдал в бинокль. Со всем как театральное представление. Нет, молодец Тапа!

В этот момент взгляды Чермоева и принца Фази встретились. Чермоев приподнял свой бокал, принц Фази свой, и оба выпили.

Фази продолжал:

– Я люблю его за многое: и за то, что он знает и любит свой Северный Кавказ и своих чеченцев. Тапа – живая история всех кавказских войн. Память у него изумительная! Пытливый ум и знание предмета в мельчайших подробностях делают его увлекательным собеседником. Я сам люблю Кавказ – его нельзя не любить – вся моя служба прошла среди горцев, и потому мне все кавказское особенно мило и дорого!..

Глава, в которой Саша Чавчавадзе перестал быть светским человеком

После обеда хозяева и гости разбились на группы. Самая большая группа тесным кольцом черкесок стустилась вокруг Лары. Женщина, да еще такая, как она, редкостью была на фронте. Офицеры не видели здесь никого, кроме галицийских крестьянок и сестер милосердия. Крестьянки были грязны, а сестры милосердия успели примелькаться своими косынками, своим аптечным запахом и своей доступностью. А это, это настоящая дама. Кроме аромата духов, она вся Овеяна также ароматом светской жизни Петербурга. Казалось, частицу этой самой жизни, такой манящей, она привезла с собою в складках своего платья, в движениях, в улыбке.

Каждому хотелось быть поближе к ней, коснуться хотя бы рукавом черкески. И за право это сделать, за право поймать на себе хотя бы мимолетный взгляд ее темных продолговатых миндалин, эти мужчины готовы были соперничать между собой, как самцы, со всеми последствиями такого соперниче-

ства. И напружинивались локти. Готовые мгновенно обидеться, вспыхивали глаза. Пальцы тянулись к рукояткам кинжалов. Это чувство одинаково овладело не только кавказцами, но и русскими, и прибалтийскими немцами, всеми, кто изнемогал от желания схватить ее, эту гибкую, приятно пахнущую гостью, схватить, как хватали амазонок центавры, и умчаться с нею под густую тень вековых дубов, где утром была раздача подарков... Война разнуздывает и обнажает инстинкты. Самые тонкие мужчины превращаются в дикарей. В атмосфере насилия и торжества тех, кто вооружен до зубов и чьи остree отточены когти, что такое овладеть женщиной, помимо ее желания? Эпизод. Эпизод, о котором можно будет вспомнить с приятной самодовольной улыбкой.

И Лара ощутила себя, не могла не ощутить, центром все этих вождедений. Она читала в игре лицевых мускулов и в потупленных взглядах. Это не льстило ей, но и не оскорбляло, потому что она понимала этих мужчин, изголодавшихся, здоровых, цветущих, вечно в движении, на воздухе. Это было естествен-

но, а потому не отталкивало. Совсем другое, чем оставшийся в Петербурге вылощенный капитан. У того это было надуманно, искусственно, а потому и противно.

Один Юрочка доволен был платонической ролью пажа Лары. Этот паж был немного пьян и, как все молодые люди, которые не умеют пить и которым хмельное состояние не идет, был какой-то и смешной, и блаженный, и гордый тем, что он знает Лару давно. В этом месиве Мужчин вокруг одной женщины Юрочка представлял их ей одного за другим:

– Лариса Павловна, корнет князь Радзивилл... Ротмистр Тугарин.

Радзивилл ниже ее, а Тугарин значительно выше, рослый и видный. Лара отметила, что лицо у него грубоватое особенной грубоватостью таких же рослых степных помещиков, что в поддевках появляются на конских ярмарках. Да, поддевка, шаровары, высокие сапоги, но не купец и не барышник. И хотя не видно тонкой породы, но и по манере носить голову, и по осанке, по голосу, по всему угадывается дворянин, помещик. Так и Тугарин. В нем, с одной стороны, что-то степное, господ-

ское, с другой, что-то кавалерийское – с такой внешностью нельзя не служить в коннице. И поэтому Тугарин запомнился Ларе, запомнился еще удалью и силой – так и веяло от него и тем, и другим от всей его фигуры, широкой в плечах и в груди.

К Ларе подошел Чавчавадзе. Ему легко было подойти: перед ним, старшим полковником и командиром черкесов, все расступались, и никто враждебно и вызывающе не напряжинивал своих локтей. Он только успел обратиться к Ларе с какой-то любезностью, как перед ним вырос адъютант Черкесского полка Верига-Даревский.

– Начальник штаба дивизии просит ваше сиятельство к телефону.

Телефонная проволока была вестницей чего-то такого, что сразу вдруг изменило общее настроение. Чавчавадзе вернулся другой, озабоченный. От его светскости не осталось и следа. Минуту назад женщина была здесь украшением, услугою, теперь она была только помехой.

Чавчавадзе сказал – Юрочке:

– Федосеев, отведите мадам Алаеву в Тлу-

сте-Място. А Ларе сказал:

– Я очень сожалею, но мы должны прервать наше милое беззаботное веселье. От имени своего полка еще раз благодарю за подарки, и счастливого пути!

Этим «счастливого пути» он подчеркнул, что они более не увидятся и теперь ему уже не до гостей.

Ларе было непонятно и ново: и этот холодок, и то, что все сразу стали строгими, деловыми и что на нее никто уже не обращал внимания. Офицеры садились на лошадей, поданных вестовыми, и уезжали.

Дорогой, сидя с Ларой в автомобиле, успешный отрезветь Юрочка объяснил:

– Это, конечно, между нами, Лариса Павловна. Ночью мы перейдем в наступление и будем рвать фронт.

– Юрочка... хоть бы издали, хоть бы одним глазком...

– Что вы, что вы! – испугался Юрочка. – Ни под каким видом. Юзефович попросит вас сегодня же уехать!

– Но куда же, куда же, Юрочка? – с отчаянием вырвалось у Лары. Она увидела себя та-

кой бесприютной, такой беспомощной. Все было так интересно тут, так заманчиво и вдруг... Нет, нет, это ужасно! Возвращение в Петербург, теперь такой скучный, такой ужасный, постылый и ненужный!..

– Я не хочу в Петербург! Не хочу!

– Ну его совсем, этот гнилой Петербург! – согласился Юрочка. – Знаете, что я придумал? Ведь вы свободны как ветер? В Петербурге ни с чем не связаны?

– Ничем решительно! – твердо ответила Лара, вспомнив вылощенного капитана.

– И отлично! Поезжайте в Киев. Там бьется жизнь, там чувствуется на каждом шагу тыл. Центр киевской жизни – «Континенталь». Остановитесь в нем и вы увидите, как будет хорошо! Через несколько дней, когда мы закончим операцию, многие из наших туземцев бросятся в Киев отдохнуть, освежиться. Не выходя из «Континенталья», вы будете вновь в Дикой дивизии. Да и я прикачу, если останусь жив.

– Глупости! Конечно, останетесь!

– Не глупости, война!..

Карикозов в большом свете

Капитан Сальватичи, он же пан Руммель, успел скрыться в ту самую ночь, когда поручик Джемарджидзе вместе с ингушами и с агентом армейской контрразведки оцепил кофейню «Под тремя золотыми левами» на предмет обыска и ареста видного неприятельского шпиона.

Обнаружилось, что капитана Сальватичи и след простыл. Джемарджидзе в бешенстве сорвал с себя папаху, бросил оземь и начал топтать ногами.

– Удрал, негодяй! Удрал!

Велико было отчаяние. Еще бы, Джемарджидзе присмотрел уже возле штаба полка дерево, на котором должен был висеть австриец, и вот, не угодно ли, такой провал!

Обыск не дал никаких особенных результатов, хотя полицейский нюх Джемарджидзе и привел его к тайной телефонной системе. Сальватичи успел испортить ее, и поручику Джемарджидзе в виде трофея достался деревянный прямоугольник с оборванными шнурами и без штепселей.

Когда Тугарин угостил Руммеля ударом плети, Джемарджидзе под свежим впечатлением осудил ротмистра;

– Зачем зря бить человека? Что он тебе сделал? Нехорошо!

После обыска Джемарджидзе уже совсем иначе судил:

– Тугарин, ты во всем виноват! Надо было застрелить этого мерзавца!

– Будь я уверен, что это за птица, не задумываясь всадил бы пулю!

– Уверен не уверен, птица не птица, надо было стрелять. Начальство потом разобралось бы. Но ничего, ты и так молодец, помог снять с него маску! – утешал Джемарджидзе Тугарина и сам утешался.

А Сальватичи сдержал свое обещание. Через два-три дня к Карикозову подошел на улице санитар в новенькой форме. Убедившись, что они только вдвоем и кругом никого нет, санитар на ломаном русском языке задал вопрос:

– Вы есть господин Карикозов?

– Да, я господин Карикозов.

Санитар показал ему железное кольцо.

Фельдшер подмигнул с видом заговорщика. Отношения быстро наладились.

Затем Карикозов устроился в командировку в Киев за медикаментами для дивизионного лазарета.

Стыдясь своего фельдшерского звания и желая походить на офицера туземной дивизии, Карикозов башлыком закрывал свои фельдшерские погоны. Был весьма счастлив, когда солдаты козыряли ему. Да и не только солдаты, офицеры приветствовали его, как равные равного.

Отложив покупку медикаментов на последний день, он занялся собственными делами: ходил в цирк, шатался по кофейням, знакомился с женщинами и успех туго набитого бумажника приписывал своей собственной неотразимости.

Женщинам он выдавал себя за черкесского князя, корнета Дикой дивизии, и нахально врал о своих подвигах. Ему верили, и нельзя было не верить человеку в косматой папахе, с таким чудовищным кинжалом и с такой зверской физиономией в те минуты, когда, рыча и скрипя зубами, он описывал, как вры-

вался в самую гущу австрийцев и крошил их этим самым кинжалом. Для большей наглядности Карикозов вытягивал из ножен клинок и, послунив палец, проводил им по острому лезвию, делая страшные глаза...

Любовные утехы ничуть не мешали коммерческим оборотам. В кофейне Симадени, в глубине, Карикозов встречался с бородатым персом в высокой каракулевой шапке. В паке-тиках из папиросной бумаги перс хранил небесного цвета бирюзу, а также бриллианты и рубины. Появлялись щипчики, появлялся инструментик для определения количества каратов. Не особенно доверяя друг другу, Карикозов и перс придушенными голосами торговались и спорили.

Обедал Карикозов в маленьких рестора-нах, но ему хотелось пообедать хоть един-ственный раз в «Континентале»; Он долго не решался. Не потому, что смущала цена, а по-тому, что ресторан этой первой в Киеве гости-ницы всегда битком набит военными. Чу-жие-то еще туда-сюда, но легко напороться на своих «туземцев», и тогда не поможет синий башлык, закрывающий фельдшерские пого-

НЫ.

Долго колебался Карикозов. Велик был соблазн, но и велик был страх. Наконец, первый победил последний. В эти дни наступления вряд ли кто-нибудь из офицеров уехал бы в отпуск.

Карикозов не обманулся. В ресторане, кроме него, был еще из Дикой дивизии только один вольноопределяющийся, правовед Балбаневский, как и он, закрывший свои погоны башлыком. Фельдшер знал Балбаневского. Он ему продавал кокаин.

Войдя, Карикозов, при всей наглости своей, растерялся – так ошеломила его своим великолепием обстановка. Потoki электричества, зажигающие бриллианты нарядных, с обнаженными плечами дам. Гвардейские офицеры, спекулянты в смокингах, важные метрдотели; передвижные на колесиках столы с дымящимся ростбифом и еще многое такое, чего Карикозов никогда не видел.

Он твердо помнил одно: необходимо отыскать глазами какого-нибудь генерала, а если не генерала, то полковника, и попросить разрешения сесть.

И, о ужас! Он, Карикозов, увидел знакомое по фотографиям лицо с уже седеющей бородкой, увидел адмиральские погоны... Это великий князь Александр Михайлович. Он заведует всей военной авиацией, и его штаб здесь же, в Киеве. Будь что будет! Карикозов, вытянувшись, деревенеющим языком произнес:

– Ва... ва... ше императорское высочество, раз... разрешите с... с... сесть.

В ответ – насмешливая улыбка и такой же насмешливый кивок головы. Чересчур комичен и нелеп был этот неуклюжий «горец». Черкеска, пожалуй, самый красивый, самый воинственный мужской наряд для тех, кто создан для нее, кто строен и ловок и кто умеет ее носить, что весьма нелегко, особенно для некавказцев. А для полных и неповоротливых, для подобных Карикозову, ничего нет убийственнее черкески.

Гора с плеч свалилась: великий князь принял его за офицера. Можно сесть, но где? Свободных столиков нет. Есть полусвободные, но подсесть к офицеру опасно – того гляди расшифрует маскарад и выгонит вон.

Вот еще удовольствие! Нельзя спокойно за

свои деньги пообедать в хорошем месте. А между тем у него, Каракозова, больше в кармане, чем у любого из этих «пускающих пыль в глаза» офицеришек!..

Вот одинокая дама. К ней разве присоединиться? В ее обществе приятней, а главное, безопасней, чем с забубенным ротмистром каким-нибудь.

– Ва! – именно этим кавказским «ва» подумал Карикозов, – да ведь эта барыня только на днях гостила в туземной дивизии. Видимо, важная барыня, – и великий князь приглашал, и Юзефович, уж на что собака, и тот машину предоставил. Но как и что ей сказать? – затруднился фельдшер, в практике своей выше девиц с Крещатика и сестер милосердия третьего сорта не поднимавшийся.

Ему повезло. Растерянный, топтавшийся среди ярко освещенного ресторана, скромный, незаметный офицер – и она приняла его за офицера – привлек внимание и сочувствие Лары. Он казался ей родным и близким, как была теперь для нее родной и близкой вся Дикая дивизия. Она подозвала метрдотеля, и тот подошел к Карикозову.

– Барыня приглашает вас сесть за ее столик.

И когда он приблизился, все еще несмело, она подбодрила его ласкою во взгляде и в голосе:

– Садитесь, пожалуйста.

– Благодарим вас, мадам! – и, щелкнув каблуками, фельдшер занял свободное место.

«Вот они, дети гор, – мелькнуло в голове Лары, – в непривычной культурной обстановке теряются, а на позициях дерутся как львы. И он такой же. Необходимо его подбодрить».

– А в этих последних боях вы не принимали участия?

– Никаких нет, мадам. Очень секретный поручений здесь, Киев, командирован.

– Вам это неприятно? Вы, несомненно, предпочли бы разделить со своими все опасности?

– Так точно, мадам, ужасно большой досада имеем! Я эти австрийцы вот как резил! – и, схватившись за клинок, Карикозов оскалил зубы и сделал зверское лицо.

«Да, да, все они такие! – восхищалась Лара, – все они бойцы с колыбели, и война для

них – «пир».

Увидев, что «герой» беспомощно вертит в руках меню, Лара и тут поспешила к нему на помощь.

– Я вам посоветую, что взять. Есть даже ваш родной кавказский шашлык.

– Есть? Очень обожаем шашлык!

Преступление и наказание

Да, Юрочка был прав.

Киев оказался куда более в соответствии с переживаниями Лары, чем Петербург.

Киев не только великолепен на редкость, но и живописен своей хаотической разбросанностью, весь такой буйный, густо красочный. Знойное солнце, белые стены древних святынь и золоченые купола. Что-то ликующее, певучее, и красота совсем другая, чем стройность линий закованной в гранит северной столицы.

Перед самой войной Лара изъездила юг Италии, но и после этих увенчанных мировой славой ландшафтов она часами любовалась в саду Купеческого собрания бегущей без конца и края заднепровской равниной с ее

песками, нивами, лугами, лесами и деревнями. В обычное время Киев какой-то сонный, глухой, теперь – шумный, бурливый тыл юго-западного фронта. Люди в военной форме, без конца, везде и всюду. Через Киев тянулись не партии, не полки, а целые полчища пленных австрийцев. И на фоне старинного русского города казалась чужой форма: эти серо-стальные мундиры пехоты, синие с желтым шнурами доломаны венгерских гусар и алые фески боснийцев. И такие же чужие лица и чужой говор на всех языках всех народов, населяющих Австро-Венгрию. Дребезжание экипажных колес, пыхтящие грузовики с военным от снаряжением, автомобили штабных офицеров и санитарных уполномоченных.

И ко всему этому еще Киев был временной столицей с пребыванием жившей в Киеве с самого начала войны вдовствующей императрицы Марии Федоровны.

Лара мечтала хотя бы о нескольких днях полного одиночества. Это одиночество нужно было ей, чтобы воссоздать, продумать все вывезенные «оттуда» впечатления. И теперь они чудились еще острее и ярче. Воспоминания

всегда сильнее действительности, как талантливый пейзаж сильнее природы. Но не успела она снять номер в «Континентале» и спуститься в холл, как тот час же очутилась среди старых петербургских знакомых – дам-патронесс, ездивших на фронт, дам, никуда не ездивших; а состоявших при императрице-матери, чиновников, одетых в полу – военную форму, и настоящих военных. Завтракать и обедать приходилось в компании, и это выдался редкий случай, что она сидела одна, ко – гда в ресторан нелегкая принесла Карикозова.

Заказав себе обед, Лара под настроением этой фигуры в кавказской форме вспомнила и ночную прохладу букового леса, и сдавленные голоса туземцев, и светляков, вспыхивавших в прохладной тьме, подобно крошечным электрическим фонарикам... Вспомнила залитую солнцем поляну, синие и красные башлыки, сверкание труб с их увлекающими в какую-то светлую прекрасную даль звуками... И за все это она прощала Каракозову чавканье челюстями и кромсание рыбы ножом, вытирание салфеткой вспотевшей лба. Пусть!

Ведь он же дитя природы, и какой суровой, дикой природы! И если здесь, за столом, он беспомощен и неловок, то в своей родной стихии, несомненно, и проворен, и лих, отважен.

А Карикозов, хотя и не читал книги «Хороший тон» – он вообще никогда ничего не читал, но своим умом дошел, что в таких случаях кавалеры занимают дам разговорами. И, обсосав баранью косточку, облизав жирные пальцы, он обратился к Ларе с энергичной жестикуляцией и с такой же энергичной мимикой.

– Ей-богу, мадам, совсем не хотим в Киев ехать! Воевать хотел! А полковник Юзефович начальник штаба, говорит: «Это его высочество великий князь...» Тогда я уже говорю: «Если это великий князь хотел, давай пакет! Еду!».

Аппетит приходит во время еды. Начав фантазировать, видя, что его слушают, Карикозов готов был фантазировать без конца. Пусть это сладостный самообман, пусть, но у этой барыни – он ее больше никогда не увидит – останется впечатление, что и в самом деле он прапорщик, и не какой-нибудь, а

пользующийся исключительным доверием великого князя и его начальника штаба. В изобретательной голове фельдшера уже готов был переход от важной секретной командировки к одному из боевых эпизодов с ним, Карикозовым, в главной роли. Здесь можно будет повторить имевший успех трюк: вынуть хотя бы наполовину кинжал и, состроив свирепую гримасу, послунив палец, провести им по лезвию...

И, несомненно, так и было бы. Но тут случилось нечто весьма неожиданное как для самого Карикозова, так и для дамы, готовой его слушать с терпеливой благожелательностью.

Ни он, ни она не заметили, как, громко беседуя между собой, вошла группа офицеров Дикой дивизии. Прямо с поезда – в «Континенталь». Едва успевшие помыться, привести себя в порядок, жизнерадостные, веселые от сознания, что они живы и невредимы после боев и самое страшное уже позади, проголодавшиеся, спустились они в ресторан.

Они увидели Лару и ее собеседника.

– Это еще что за «туземец»? – похрипывающим баритоном полюбопытствовал Тугарин,

не могший разобрать со спины, кто сидит рядом с Ларой.

И они двинулись к столу. Карикозов и Лара только тогда заметили их, когда те подошли вплотную.

– Я сказал, что мы приедем! – воскликнул Юрочка.

И только здесь и он, и все остальные узнали фельдшера.

А фельдшер так испугался, что не мог пошевелинуться и сидел истукан истуканом.

Если бы еще он вскочил, как встрепанный, вытянулся, он вышел бы из положения если и не с честью, то хоть кое-как, но то, что он продолжал сидеть, взорвало всех.

– Ты как попал сюда? Пошел вон! – крикнул на него Тугарин.

Этот грозный окрик вывел Карикозова из оцепенения, и он не приподнялся, не встал, а как-то соскользнул и, пригибаясь, рысцою выбежал из ресторана, оставив после себя такой дурной дух, что адъютант Черкесского полка, томный Верига-Даревский поднес к носу надушенный платок.

Лара и сконфузилась, и была возмущена

выходкой Тугарина.

А тут ингуш Заур-Бек-Охушев с прямолинейностью горца вознегодовал:

– Вот подлец! Клянусь Богом, здесь нельзя оставаться!

– Да, да, нельзя... Перейдем в кабинет! – подхватили все.

– Лариса Павловна, вашу руку, – предложил Юрочка.

В кабинете Лара с гневным огоньком в узких восточных глазах накинулась на Тугарина:

– Как вам не стыдно! Своего же офицера выгонять так... так непростительно грубо? Я бесконечно возмущена вами... я... К изумлению своему Лара встретила кругом не сочувствие, а дружный смех.

Тугарин оправдывался:

– Рубить голову вы успеете, Лариса Павловна, выслушайте сперва. Помилуй Бог, какой же офицер? Он фельдшер!

– А если и фельдшер?

– Дайте кончить! Я вас понимаю. Но будь это порядочный фельдшер, мы сплывили бы его тихо и мирно, не ударяя по самолюбию.

Но в том-то и дело, что это дрянь, каналья, мошенник, спекулянт – всё, что хотите. И, наверно, выдал себя вам за офицера, да еще нахально врал о своих подвигах.

– Да... он много о себе говорил, – сконфузилась Лара.

– Видите! Как же было его не выгнать?

Вдруг всем сделалось весело, всем и самой Ларе, жертве наглого мистификатора. Не щадя самое себя, описала она и свое умиление «диким горцем», и те туры на колесах, которыми этот «горец» ее угощал.

В отдельном кабинете

И в общей зале, и в кабинетах офицеры Дикой дивизии были, пожалуй, самые выгодные гости. Но в то же время – самые беспокойные. Кутежи их сплошь да рядом кончались выхватыванием кинжалов и шашек, стрельбой во время исполнения лезгинки, ибо какая же настоящая лезгинка обходится без револьверной пальбы?

После боев с опасностью на каждом шагу, после суровых испытаний и своих, и чужих, после долгих недель и месяцев лишений по-

является желание забыться, желание разгула и встряски нервов не только у кутящих всю жизнь кавалеристов, но и у самых скромных пехотных офицеров. И скандалы с мирной, не воюющей публикой тыла именно тем и объяснимы, что она мирная, не воюющая: озлобление тех, кто рискует жизнью и выносит на себе всю тяжесть войны, по отношению к тем, чья жизнь вне всякой опасности, кто и в мирное время безмятежно пользовался всеми ее благами и срывал цветы удовольствия.

Эти проявления у офицеров вообще – в обострении и в сгущении – давали себя знать и у офицеров Дикой дивизии. Почти каждый, за исключением молодежи, был с прошлым, и довольно бурным прошлым.

Полковник, принц Мюрат. В его послужном списке было несколько войн и несколько дуэлей, а в несколько лет он прокутил два миллиона. И когда от этих миллионов ничего не осталось, он вынужден был променять блестящий дорогой конный полк на более скромное положение в офицерской кавалерийской школе. А когда ему надоело объезжать лошадей и готовить из молодых поручи-

ков и штаб-ротмистров таких же центавров, каким был он сам, достойный правнук великолепного Иоахима Мюрата, он вышел в запас и уехал в Америку за новым счастьем, за новыми впечатлениями. Там какой-то «король нефти» пригласил потомка неаполитанского короля оборудовать ему конный завод. Мюрат успел поставить завод на громадную высоту, но, с первыми же раскатами Великой войны умчался в Россию и вступил в ряды Дикой дивизии.

Это ли не офицер с прошлым?

А Тугарин?

Из Елизаветградского кавалерийского училища он вышел в уланский полк, стоявший в одном из местечек юго-западного края у самой австрийской границы.

Это было громкое дело. С поручика Бакунина кто-то где-то сорвал погоны. Словом, Бакунин вернулся в офицерское собрание без погон. Тогда корнет Тугарин своей властью, на свой риск, вызвал то тревоге эскадрон, обыскал все местечко, перепорол многих обывателей и, в конце концов, погоны были найдены. Вышел слишком громогласный скандал, что-

бы его можно было замять. Тугарин был разжалован в рядовые. Простым драгуном Приморского полка воевал в Маньчжурии, отличился, был награжден солдатским Георгием. После войны он был восстановлен в правах и в своем корнетском чине, но, недовольный кем-то или чем-то, вышел уже по своей воле в запас и уехал к себе в имение, где вел беспорядочную жизнь охотника, игрока и кутилы.

Вскоре он стосковался по своей коннице, вернулся в свой уланский полк, но опять ушел после дуэли со своим эскадронным командиром.

А через два года – война, Ингушский полк Дикой дивизии, и рядом с солдатским крестом – белый эмалевый офицерский Георгий. Таков Тугарин.

И уже совсем необыкновенная биография Заур-Бек-Охушёва. Как и Тугарин, питомец Елизаветградского училища, он вышел эстандарт-юнкером в Ахтырский гусарский полк и через месяц, оскорбленный полковником Андреевым, на оскорбление ответил пощечиной. Ему грозила смертная казнь. Бежал в Турцию и как мусульманин был принят в

личный конвой султана Абдул-Гамида. Потом, с производством в майоры, он уже начальник жандармерии в Смирне. Но под турецким мундиром билось сердце, любящее Россию. Вспыхивало желание вернуться и, будь что будет, отдаться русским властям. А когда вспыхнула война, Заур-Бек в ужас пришел от одной мысли, что под давлением немцев он вынужден будет сражаться против тех, кого никогда, ни «а один миг не переставал любить.

И вот спустя двадцать лет новый побег, но тогда из России он бежал юношей, а теперь из Турции бежал усатый, с внешностью янычара, опытом умудренный мужчина. Высочайше помилованный, Заур-Бек принят был всадником в Чеченский полк, получил три солдатских креста, произведен был в прапорщики, затем и в корнеты.

Много было таких в дивизии, как Мюрат; как Заур-Бек, как Тугарин, людей темпераментных, с бушующими страстями, людей, не созданных для повиновения шаблону воинской дисциплины.

Были и офицеры, погрешившие в свое вре-

мя не только против дисциплины, Но и против морали. Но война сглаживает все углы и шероховатости, ибо она сама по себе аморальна не как идея, а как ее осуществление. И потому вчерашний преступник или полупреступник делается сегодня героем и подвигами своими заслоняет свое прошлое... Но войдем в кабинет вслед за Ларой и ее шумным, ликующим окружением, окружением, с неделю не знавшим, что такое горячая пища, – на позиции нельзя подтянуть походные кухни, да и поспеть не могли за быстрым движением, движением в боях. Заказали тонкий обед, желая вознаградить себя за несколько дней вынужденной сухомятки.

И пока обсуждались закуски, стерляжья уха, осетрина и седло дикой козы, подоспели еще «туземцы». Они приехали вместе со всеми, но, за отсутствием свободных комнат в «Континентале», расположились в «Гран-Отеле» и потому запоздали.

Во главе этой новой группы был принц Мюрат. Хотя веселость не покидала его, и приветливо улыбалось открытое лицо, но внутри было не по себе. Этот рожденный для

войны офицер переживал трагедию. Его последние трофеи и под виги были в буквальном смысле последними.

Он все еще силен, все еще может гнуть монеты, но уже постепенно лишается ног. Дает себя знать и подагра мирного времени, и ревматизм трех войн, и, самое главное, зимние бои в Карпатах с их стужей, когда ему отморозило обе ноги, Он с трудом вошел, и не в сапогах, а в бархатных валенках. Это нарушало его кавказский стиль, и он, родившийся на Кавказе, и кавказец по матери, грузинской княжне, сам это чувствовал более, чем кто-либо.

Он склонился к руке Лары.

– Вы видите перед собой инвалида. Ноги мои изменяют мне, как и я изменял женщинам. Я никуда не гожусь, ни пеший, ни конный. А жаль! Я так мечтал войти во главе своего дивизиона Берлин.

Лара пыталась утешить его.

Он отрицательно покачал головой, и впервые за все годы знакомства она увидела в его глазах печаль.

Юрочка подсел к Ларе:

– Вы о нас думали? Вспоминали нас?

– Еще бы, все время! И знаете, Юрочка, милый, как это странно. Не было ни одной минуты сомнения. Я считала в порядке вещей, иначе и быть не может, что вы вернетесь благополучно. И только теперь, увидев вас всех невредимыми, только теперь поняла, какой опасности вы подвергались! И мне и жутко, и радостно. И теперь, когда чего, казалось бы, волноваться, – я все же волнуюсь.

– Так бывает, – согласился Юрочка и, понизив голос, как бы проникаясь важностью того, что сейчас скажет, продолжал. – Дивизия лишней раз покрыла себя славой, но, увы, ценной значительных потерь. Она лишилась нескольких офицеров, и в том числе ротмистра Сарабуновича. Вы его не помните? Незаметный и скромный. Для дивизии же это незаменимая утрата. Он вел свою сотню в атаку под сильным артиллерийским огнем. Его контузило, контузило так – из ушей и носа хлынула кровь! Оглушенный, приказал снять себя с коня, приказал двум ингушам вести себя. А через минуту новым снарядом разорваны были и сам Сарабунович, и те, кто

его вел. Он представлен к посмертному Георгию...

– Какой ужас, – молвила, содрогнувшись, Лара и уже другим тоном спросила: – Должно быть, очень лихой офицер?

– Лихой? Не скажу! – ответил Юрочка. – Лихость одно, храбрость – другое. Покойный Сарбунович был очень храбр, но лихости в нем не было. Лихость – это внешнее. Молодцеватая фигура, когда одним видом своим офицер поднимает дух и ведет за собой. Сочетание храбрости и лихости это уже идеал. Таков, например, – и хотя кругом все двигалось, шумело, искрилось, Юрочка еще понизил голос, наклонившись к Ларе, – таков, например, Тугарин. Он и в этой операции отличился. Так как имеет уже Георгиевский крест, представлен к золотому оружию... Я вам сейчас расскажу...

Лара, как бы желая остановить Юрочку, узкой холеной рукой почти коснулась его губ.

– Не надо... Потом... Завтра вы придете ко мне пить утренний – кофе и все расскажете, все... Я буду внимательно слушать, Юрочка. Такое же ощущение, когда принимаешься за интересную книгу: и желаешь узнать, что

дальше, и хочется отдалить предвкушаемое удовольствие. Это одно, а затем, разве можно здесь внимательно слушать?

– Погодите, то ли еще будет! – многозначительно пообещал Юрочка.

И действительно, «туземцы» все более и более входили во вкус хмельного загула своего, но при этом никто ни на один миг не забывал о присутствии дамы. Наоборот даже, все время помнили о ней, окружая изысканно рыцарским вниманием. И потому, что она была единственной женщиной – среди них, и потому, что это было в кабинете ресторана, туземцы удерживались от ухаживания, стараясь держаться в чисто дружеских рамках. И не будучи искусственным, натянутым, это выходило так славно и просто.

Пили много, очень много, но никто не забывался, не терял чувства меры.

Лара не отставала от компании и пила шампанское. Оно кружило ей голову, но еще более кружилась голова от новых впечатлений. Обеды в мужском обществе, в кабинетах, не впервой были ей, но впервые она видела этот загул, горячий, темпераментный, с

обычаями, каких нигде, кроме как среди кавказцев, не сыщешь.

Пели хором «Алаверды», пели другие застольные песни. Заур-Бек вынул свой кинжал и, взяв кинжалы трех соседей, держа на голове стакан, до краев налитый вином, жонглировал клинками. И было страшно за него. Малейшее неловкое движение, промах, и отточенный кинжал поранит самого жонглера. Но Заур-Бек не только не промахнулся ни разу, но и не пролил ни одной капли вина. Стакан словно приклеен был к его твердому, лоснящемуся черепу. Пример Заур-Бека зажег всех остальных, и всем хотелось проявить свою джигитскую удаль и ловкость.

Принц Мюрат с большим румяным яблоком в руке, поманив за собой Веригу-Даревского, тяжело ступая подагрическими ногами, вышел на середину кабинета.

Верига, знавший в чем дело, положил яблоко себе на ладонь. Мюрат, отступив, выхватил шашку. С молниеносной быстротой сверкнул тонкий кривой клинок. Этим страшным ударом можно было бы снести голову...

Лара сначала ничего не поняла. Яблоко осталось на ладони адъютанта Черкесского полка, но когда Верига свободной рукой отделил верхнюю половину яблока, Лара поняла: эффект рубки был не только в том, чтобы не отхватить пальцев, державших яблоко, но и в том, дабы так разрубить его, чтобы половинки остались на месте, давая впечатление целого яблока.

И уже после великолепного трюка Лара осознала всю опасность его и, закрыв лицо руками, попросила:

– Больше не надо, ради Бога, не надо!

Закончилась лезгинка под звуки пианино и под сухое щелканье револьверных выстрелов, изрешетивших паркет...

Тот, кого нет, но о ком говорят

Если шорох и говор ночи воспринимаются как-то особенно значительно, да и, в самом деле, таят в себе какую-то значительность, в такой же мере шумы, голоса и зовы утра как-то особенно приятно ласкают слух, наполняя душу чем-то бодрящим.

Лара именно так воспринимала этот смешанный гул проснувшегося города: и звон дальних колоколов, и громыханье трамваев, и то сердитое, то умоляющее завыванье автомобильных сирен, и голоса внизу – все это и властно вливалось, и нежно лилось в ее открытое окно, смягченное и облагороженное тем свежим и ясным, что бывает лишь по утрам и никогда больше.

И с такою же остротой ощущения поняла она, как чужд ей оставшийся в Петербурге капитан и как одинока она душою и телом. Это гибкое тело потягивалось в истоме под полуспущенным одеялом. И так же ясно и четко замелькало все вчерашнее. И нелепый фельдшер с его хлестаковским враньем не был ничуть противен, а скорее забавен. И уж совсем

забавно было его бегство, сопровождаемое медвежьей болезнью. Отчаянно перетрусил, бедняга... И Лара как-то весело, юно засмеялась, и звуки собственного смеха подхлестывали ее, и она хохотала неудержимо, находя в этом прямо физическое удовольствие. А в кабинете было совсем хорошо. Да, эти кавказцы умеют и кутить, и веселиться и даже русских научили этому. Это не было тупое, скучное пьянство. Было много выпито, но и много проявлено удали. Этот Заур-Бек с головой султанского янычара?.. Бесподобно жонглировал острыми как бритва кинжалами. А Мюрат?.. И только теперь Лара испугалась по-настоящему и за янычара, и за Веригу. Ошибись чуть-чуть Мюрат, мог бы отхватить Вериге несколько пальцев.

А Тугарин? Этот ничего не показал, но прав Юрочка: весь он лихой и дерзкий и, несомненно, привык и умеет властвовать... Как он прикрикнул на этого несчастного фельдшера... Неудивительно, что фельдшер... – и опять она засмеялась.

У изголовья, на мраморной тумбочке, плоские квадратные часики на бриллианто-

вой браслетке показывали девять. С минуты на минуту может постучать Юрочка. Правда, он свой, и она менее всего видит в нем мужчину, а все-таки надо быть в порядке, не для него, а для себя...

А вот и он.

– Bravo, Лариса Павловна! Я не ожидал, что вы будете уже в полной боевой готовности. Ведь мы разошлись в третьем часу. Вас не утомил наш вчерашний загул?

– Нисколько! Новое, интересное никогда не утомляет. Юрочка, милый, нажмите кнопку у дверей. Нам принесут кофе.

Юрочка, позвонив, сел, держа между коленями шашку.

– Вы с утра уже при всех ваших доспехах?

– Для меня не утро, а день. Я успел побывать в комендантском управлении...

За кофе Юрочка продолжал начатый накануне в кабинете рассказ. С громадным удовольствием говорил он о своей дивизии, восхищался ею с пылкостью молодого любовника.

– Этим наступлением наша дивизия золотыми буквами вписала свое имя в историю

русской конницы. Это было красиво и как общее, и как отдельные героические эпизоды. И не знаешь, кого больше выделять – всадников или офицеров? И те, и другие соперничали в доблести. Помните трагический конец Сарабуновича? Вслед за убившим его снарядом австрийцы положительно засыпали весь участок шрапнелью. И под этим адским огнем ингуши бросились вытаскивать Сарабуновича и павших с ним всадников. И вытащили, но ценой нескольких убитых и раненых.

– Бесплезный подвиг! Зачем еще эти новые, как вы говорите, жертвы?

– Бесплезных подвигов, Лариса Павловна, нет на войне, – возразил Юрочка, – подвиг, не имеющий даже практического значения, всегда имеет значение воспитательное, моральное. Помните, я вам рассказывал, что горцы считают позором оставить своих убитых на позициях? Но это не только по отношению к своим по крови и религии, нет, они и русских офицеров, так же рискуя собой, выносят из боя. А если нельзя вынести, уползают вместе, будь это раненый, будь это бездыханное тело. И каждый из нас, идя в атаку, уверен, что ес-

ли, не дай Бог, придется плохо, «туземцы» так не оставят. Отсюда надежная спайка. Спайка таким прочным цементом, как чувство долга и кровь... Да, вас интересовал Тугарин?

– В такой же мере, как и все, – вспыхнув, ответила Лара. Юрочка, не заметив этого, продолжал:

– Офицер «а 12 баллов. Вот в ком и храбрость, и лихость.

– А что такое храбрость? – спросила Лара.

– Это общепринятое понятие, но именно как общепринятое нуждается в пояснении. Говорят храбр тот, кто не боится, кто не трус, но... но ведь тот, кто менее всего боится, кто менее всего трус, не хочет же, однако, умереть, погибнуть. Не хочет! Жажда жизни сильна в нем. Так как же? Вот мы и подошли к весьма любопытному вопросу. Конечно, умирать даже за та кие прекрасные идеалы, как Родина, никому неохота, даже лучшему из лучших, отважнейшему из отважных. Но в том-то и дело, что трус не может побороть в себе страха перед смертью, а храбрый – может. Поручик Баранов – МЫ однажды беседовали на эту тему – привел слова знаменитого

Скобелева. Его спросили, что такое храбрость. Знаете, как он ответил? «Храбрость – это умение скрывать свою трусость». Изумительное определение и по своей лаконичной краткости, и по своей глубине, особенно устах Скобелева. Его презрение к опасности не знало границ.

«Храбрость – это умение скрывать свою трусость», – задумчиво повторила Лара, тотчас же, уже по-другому, спросив, – да, так вы начали о Тугарине?...

– Дело Тугарина? Как всякий смелый налет оно просто и ясно. Глубокой ночью Тугарин со своей сотней переплыл Днестр, бесшумно снял все австрийские заставы... и на этом следует остановиться: первый случай борьбы с проволочными заграждениями. У нас, у «туземцев»; нет ножниц, да и наши всадники не умеют и не любят обращаться с ними, считая, что резать проволоку не дело джигита. В данном случае роль ножниц с успехом сыграли твердые дагестанские бурки. «Туземцы» бесшумно покрыли скученные ряды заграждений бурками, переползли по ним с кинжалами в зубах и цепкими хищниками обруши-

лись в окопы на ничего не подозревавших австрийцев. И пошла резня! Одним из первых ворвался Тугарин, показывая пример молодецкой рубки. Недобитые австрийцы кинулись бежать и заразили паникой вторые и третьи линии, весь свой небольшой фронт. А бегущих атаковали уже в конном строю наши же «туземцы», успевшие переправиться в другом месте. Вся сотня Тугарина получила Георгиевские кресты, а сам он, как я вам уже говорил, получил золотое оружие. Больше ему уже нечего получать, имеет все, что можно было иметь и за японскую войну, и за эту.

Юрочка умолк, опять не заметив ни вспыхнувшего лица Лары, ни ее легкого волнения.

Она спросила:

– Он холостой, одинокий, ваш Тугарин?

– Был женат, развелся. Не для таких, как он, семейная жизнь. Это человек порыва, человек бури, невоздержанный, властный. У него своя логика, своя мораль, свое отношение к начальству, свое понятие дисциплины – все свое!.. О чем вы задумались, Лариса Павловна?

– Я? Ах, да... Нет, ни о чем. Так... Но я слу-

шаю вас, Юрочка, продолжайте.

Но Юрочка не спешил продолжать: улыбнувшись, поправил свой кинжал. Только теперь он заметил, что его собеседница, хотя и пытается скрыть свою заинтересованность Тугариным, но заинтересована им несомненно. Он знал о связи Лары с вылощенным капитаном генерального штаба и от всей души хотел, чтобы Лара увлеклась Тугариным. Во-первых, капитан был ему антипатичен, а во-вторых, он, Юрочка, относился к Тугарину с чувством, близким к обожанию.

– Да! – вспомнил Юрочка: – Это было после взятия нами Станиславова. Значительно позже. Мы успели также значительно, отойти. Штаб нашей бригады стоял в Червонограде, имени княгини Любомирской. Какой дворец! Какие оранжереи! Библиотека! Настоящее магнатовское гнездо! Сама княгиня покинула Червоноград, не успев даже вывезти свои драгоценности. Мы, как могли, бережно относились... В ее спальне и будуаре никто из нас не ночевал. И вот мы свертываемся и уходим. Нас сменяет штаб пехотного полка под командой полковника генерального штаба.

Не помню уже, как и почему мы с Тугариным уходили последними... Уже поданы были лошади, уже водворялись наши заместители. Из комнат княгини доносился какой-то шум, кто-то чего-то взламывает... Не хозяйничает ли напоследок кто-нибудь из наших «туземцев»? Входим... и вот, я вам доложу, картина: застаем полковника генерального штаба в тот момент, когда он вытаскивает из им же взломанного туалетного ящика жемчужную нитку. Надо было видеть Тугарина. Бешеный стал. А полковник успел уже сунуть нитку в карман своего френча...

– Грабежом занимаетесь, негодяй! Какой вы пример подаете своим нижним чинам? – загремел Тугарин.

Полковник на секунду сконфузился, а потом, нагло:

– Ротмистр, как вы смели войти без разрешения? Потрудитесь немедленно удалиться.

– А вы потрудитесь немедленно положить назад то, что украли.

– Вон отсюда!

– Ах, вон! – света не взвидел Тугарин и огрел полковника плетью. Тот за револьвер.

Тугарин плетью по руке, да так, что револьвер выпал.

Полковник орет:

– Я вас предам полевому суду!

Но это, конечно, была пустая угроза. Полковнику невыгодно было раздувать скандал. Так он и проглотил два удара нагайкой и еще жемчужную нитку вернул. Но не в этом дело. Были офицеры, пятнавшие себя грабежом, были и будут. А важно: кто отважится избить командира полка в условиях военного, времени? Для этого надо быть Тугариным. Поступок безумный...

– Но сколько в этом безумии благородства! – с восхищением вырвалось у Лары.

Потом она спросила:, – А как зовут негодяя?

– Полковник Нейер.

– Как? – и Лара густо и горячо покраснела.

– Полковник Нейер.

– Высокий блондин?

– Да. Вы его знаете?

– Нет... Но... видела, встречала.

Откровенная женщина

В Царском саду было тихо. Дальше голоса и звуки города подчеркивали тишину. Если бы не эти голоса и звуки, сад мог бы сойти за опушку горного леса – так все было здесь и хаотично, и мощно, и почти первобытно.

Внизу дышал прохладой и сыростью глубокий овраг, и подступали вплотную гигантские, в несколько обхватов, дубы и липы. Их густая зелень нехотя пропускала яркие трепетные пятна полуденного солнца. Вековые деревья вот-вот рухнут в бездну, и только корни, могучие, переплетенные, глубоко ушедшие в рыхлый чернозем, удерживали их. Часть этих корней обнажилась, и они клубками змей тянулись из-под земли.

Лара и Тугарин стояли рядом. В лиственный просвет они видели внизу, в тысяче шагов от себя, шумную зыбь Днепра, железное кружево нависшего над рекой моста и заднепровские дали, Бог знает где сливавшиеся с лазурью небес.

Лара смотрела перед собой. Тугарин смотрел, на нее.

– О чем вы думаете, Лариса Павловна?

– О чем? – восторженно воскликнула она, – думаю, как притягивает и такая глубина, и такой необъятный простор. Но глубина как-то волнует и тревожит. Непокойно, тянет вниз, мучительно, неудержимо. А простор хочется созерцать долго, долго... Почему? Он действует благостно, как-то именно благостно. Мне кажется, это у всех так...

– Нет, не у всех. Возьмите какого-нибудь тусклого чиновника. Этот, наверное, не подойдет к самому краю обрыва, как вы. Что же касается далее, он закроется от них газетой и будет читать хронику убийств или отдел наград и производств по службе. Нет, эти ощущения – удел натур ищущих, буйных, дерзающих..., – Неужели я буйная, дерзающая, ищущая? – с какой-то несвойственной ей конфузливой кротостью и с какой-то улыбкой вырвалось у нее.

– Я мало знаю вас, вернее, совсем не знаю, но думаю, что да.

– Чтобы так думать...

– Надо иметь какие-нибудь основания? – подхватил Тугарин. – Извольте! Я наблюдал

вас и на раздаче подарков, и на обеде в Черкесском полку. Я видел, как мужчин тянуло к вам, но это не было только... как бы вам сказать, любопытство одной голой чувственности...

– Вам угодно, кажется, сказать, – подхватила на этот раз Лара, – что у них явилось желание заглянуть в бездну?..

– Вот, вот. Вы так же волнуете и притягиваете, как вас самих притягивает и волнует... – он сделал широкий жест по направлению к обрыву и тотчас же прибавил: – А вы все-таки сделайте шаг назад, не то сорветесь, и я не успею подхватить вас.

Лара машинально последовала его совету и спросила с каким-то вызовом:

– А вы?

– Что я?

– Тогда, на обеде, и вы испытывали такое, же желание заглянуть в бездну?

– Зачем этот вопрос? Кокетство? Вы же сами знаете силу своего обаяния.

– А вдруг бездна окажется высохшим ручейком с плоскими берегами?

– Во-первых, не окажется. А во-вторых, до-

пустим даже и так. Надо жить сегодняшним днем и, если он даст мне иллюзию, то какое мне дело до завтра с его обманом, с его крушением иллюзий?

— Это вообще ваша теория или применительно, к военному времени, в том смысле, что надо ловить момент, ловить наслаждения? Сегодня, сию минуту. Завтра будет уже поздно, завтра может ничего не быть.

— Мой взгляд всегда был таков, но, слов нет, война укрепила его.

Она смотрела на Тугарина вдумчивым, оценивающим взглядом. Вот мужчина с головы до ног. Весь, весь с его энергичным, волевым помещичьи-кавалерийским загорелым лицом, со стройным и сильным телом, в короткой черкеске, в папахе, надвинутой на уши, как носят горды. Это сообщало ему что-то воинственно-звериное. И вот, неглупый и небанальный, он может схватить ее и, сжимая в беспомощный человеческий комочек, бросившись со своей добычей туда, где-гуще деревья, грубо взять, насильнически, как брали фавны дриады, как брали амазонок центавры.

И ее чуть насмешливый взгляд был так выразителен, так говорящ, что он спросил: – Что вы хотите сказать?

– Я только подумала, но, если вас интересует, скажу. Вы задали весьма любопытный вопрос. Это вечное, оно всегда останется: взаимное непонимание. Мы, женщины, и вы, мужчины, говорим на разных языках. Вы обычно начинаете с того, чем мы кончаем. Вы идете прямо к телу и очень редко через тело к душе, чаще всего ограничиваясь одним только обладанием. Мы же идем к телу через душу. Сначала любовь, а уже потом чувственное наслаждение и восторги, как следствие любви. Будем откровенны: вы желаете меня, но если бы я позволила себя взять – я не говорю отдалась бы – на другой, на третий день, по дороге в вашу дивизию, вы так же взяли бы в поезде первую попавшуюся женщину. Имейте мужество сознаться. И это вы, Тугарин, далеко не такой, как все. Что же сказать о всех?

– Пусть так! – согласился он с тем же вызовом, который за минуту был у нее. – Но тогда будем же до конца откровенны. Сказанное ва-

ми только что полно красоты и поэзии. Но вы-то, вы сами, всегда были верны этой красоте и поэзии?

– Нет, не всегда, должна покаяться, не всегда!

– Так почему же отгораживаетесь от меня барьером сложных чувств? Почему не смотрите на меня, как на тех, других?

– Потому, что вы сами не пожелали бы очутиться в роли тех, других, в сущности, унижительной роли. Тем я позволяла, к тем я снисходила. Порой из жалости, порой из вежливости. Порой это был каприз, вспышка... как тот...

– А я не подхожу ни под одну из этих рубрик? – спросил он с вымученной усмешкой.

– Ни под одну.

– Можно узнать, почему?

И его тон, и улыбка не понравились ей. Слов – но какая-то сетка мешала ему смотреть на нее рябила и туманила взгляд.

Прислонившись к дереву и подняв голову Лара почти надменно ответила:

– Ну вот, не хватало только еще, чтобы вы начали меня презирать. Будь с вами откоро-

венной, с мужчиной, и разве можете вы оценить откровенность? Вы предпочитаете, чтобы вам лгали; хотя сами зачастую не верите в эту ложь. Дайте мне закончить, – повелительно пресекла она попытку перебить ее. – Я вам сейчас нарисую схему. Двое: женщина с таким же прошлым, как мое... а, может быть, с еще более богатым, и мужчина, подобный вам. Она желает его увлечь, он желает быть ее любовником. Если она, как я, вдова, она говорит, что безумно любила мужа и только его одного. Иногда, в виде исключения, допускается еще одно глубокое и сильное чувство. И это тешит вас, ваше мужское самолюбие. Вот, мол, какой я! Я разбудил в этой недоступной женщине то, чего и не могли сделать другие. Милый Анатолий Васильевич, поверьте мне, как жестоко смеются эти женщины в душе или в откровенных беседах с подругами. Я не из их числа. Я не унизилась бы до такой комедии. Одно из двух: или я нравлюсь, какая есть, или совсем ничего не надо. Вот вам мой ответ. А теперь, – меняя позу выражение лица и звук голоса, молвила она, – теперь пойдём отсюда. Юрочка с компанией ждут нас зав-

тракать. Мы не спеша пройдемся по Крещатику и... который час? Половина первого... к часу будем в «Континентале».

Смелый и робкий

Оба всю дорогу молчали и тяготились этим молчанием, испытывая какую-то странную не ловкость. На людях, в кабинете, где их поджидали друзья, им стало свободнее, легче. Захотелось говорить, говорить о пустяках, только бы не молчать.

Утром подъехали из дивизии еще трое: адъютант Ингушского полка, поручик Баранов и поручик Светлов, известный писатель и балетоман, добровольно променявший свой редакторский кабинет в журнале «Нива» на боевую жизнь офицера Дикой дивизии.

Светлов, седой, с крупными чертами, говорил тихо и мягко, был очень сдержанным, очень воспитанным человеком. Его стиль не подходил к общему фону пестрого «туземного» состава офицеров, но даже те, кто вначале сторонился его, в конце концов полюбили. Щадя возраст и седины добровольца с известным литературным именем, его оберегали, но

он рвался вперед, будь то атака или рискованная в глубоком неприятельском тылу разведка.

Баранов, единственный из русских в Ингушском полку не считая Тугарина, безупречно умел носить кавказскую форму... Его тонкая талия была создана для черкески, и в ней, будучи среднего роста, он казался много выше. Его обширный лоб переходил в лысину, а острые черты лица запоминались. За столом лишь Баранов и Светлов ничего не пили, кроме воды; остальные для начала приналегли на водку. Да и нельзя было не приналечь, такая аппетитная была подана закуска...

Отрывочная беседа вращалась вокруг боевых и мирных интересов дивизии. Резким, чеканящим голосом, таким же, как у Тугарина, только более высоким, без его баритонной густоты, Баранов описывал, как он среди ночи спешно послан был отыскать командира Ахтырских гусар, полковника Баландина:

— Я только знал лишь одно, что его надо искать на такой-то высоте. Но черт разберет их, эти дурацкие высоты, особенно же ночью. Я старый солдат, третью войну делаю, но нико-

гда не умел, да и не умею, ориентироваться. Взял с собой четырех ингушей. У них какой-то звериный инстинкт...; в смысле распознавания местности, даже совсем незнакомой. Не было случая, чтобы горец заблудился. Я всецело предоставил себя их чутью. И к рассвету мы оказались в расположении ахтырцев. Спрашиваю гусар: «Где ваш полковой командир?» «А вот там», – показывают на верушку горы. Я слышал, все мы слышали, что Баландин – офицер., выдающейся храбрости, что у него убито семь адъютантов, но все же не мог себе представить его под таким обстрелом, на такой незащищенной точке, не мог. Шрапнели поминутно рвались над самой горой, да и ружейным огнем весьма усердно обстреливали ее. Спешил я своих ингушей, спешил сам, и ползем наверх. Чем выше, тем чаще свистят пули. Каково же ему там, наверху? Окликаю: «Командир Ахтырского полка здесь?»

Откуда-то голос:

– Кто? Зачем? Я в ответ:

– Адъютант Ингушского конного полка, и так далее, Тот же голос:

– Подымайтесь ко мне!

Оставив ингушей, ползу один и вижу: сидит Баландин, вымытый, выбритый, выхолощенный и делает себе маникюр, шлифует ногти замшевой подушечкой...

– Вот это я понимаю! Под пулями делает себе! – с восхищением вырвалось у молодого корнета.

Даже Лара смотрела выжидающе узкими миндалинами восточных глаз.

Баранов, сделав паузу, продолжал:

– Да, но все эти маникюры, ухаживание за собой, словом, такой сибаритский комфорт может позволять себе на войне только Георгиевский кавалер, только офицер общепризнанной отваги. У всякого другого это является и смешным, и ненужным, и претенциозным, но, прибавляю, даже и Георгиевский кавалер имеет право позволять себе это в полосе успехов и продвижения вперед, а не когда нас бьют, и мы отказываемся назад...

Понаслышке все знали Баландина, кавалерийский офицер не мог не знать его. Баландин был, кумиром не только своего полка, но и всей кавалерийской дивизии, куда входили

ахтырцы.

В Ларе сказала женщина, ее вопрос был:

– А внешность его такая же героическая?

– Внешность? – переспросил Баранов. –

Внешность – ничего героического. Невысокий, плотный, с обыкновенным широким лицом.

Кто-то сказал:

– Конечно, офицер исключительной доблести, но вправе ли он так рисковать собой?

Переглянулись Лара и Юрочка, сидевшие наискосок. На эту тему они уже говорили. Спор сделался общим. Одни были на стороне Баландина; высота, где Баранов нашел Баландина, являла собой редкий наблюдательный пункт, вся неприятельская позиция, как на ладони. Следовательно, уже не бесполезная храбрость, А затем, такой командир может творить чудеса. Люди пойдут за ним в огонь и воду.

– Это не наш Секира-Секирский, – вставил Заур-Бек.

Все расхохотались неудержимо, весело. Только одна Лара недоумевала.

Ротмистр Секира-Секирский считался са-

мым отчаянным трусом во всей дивизии. А между тем этот громадного роста усач вид имел на редкость молодцеватый. Едва Заур-Бек назвал его имя, все живо представили себе его колоссальную фигуру в черкеске и, о ужас, в желтых гетрах и в желтых шнурованных ботинках. До такой профанации горской формы никто еще не доходил никогда.

Начали вспоминать. Сотня Секирского идет в наступление, а сам же он, на своем монументальном гунтере, мчится назад, где нет свиста пуль и разрыва шрапнели. Баранов вспомнил также один эпизод в Карпатах, но вспомнил, что за столом сидит дама, и осекся. Но и намек было довольно: кое-кто засмеялся, кое у кого лукаво заблестели глаза.

А дело было так: зимой в Карпатах горцы сидели в окопах, к великому неудовольствию своему изображая – пехоту. Офицеры согревались в землянках. А Секира-Секирский не только согревался, но и исполнял потребности, боясь выйти на воздух. Однажды спустился в землянку полковник Мерчуле, командир ингушей. Уж на что человек деликатный, я он возмутился:

– Секира, нельзя так распускать себя, превращать землянку черт знает во что.

Молодцеватый ротмистр плачущим голосом взмолился:

– Господин полковник, я не могу, мы погибнем, Мы все тут погибнем!

Но Секира не погиб, он умел беречь великолепную персону свою. Он часто ездил в отпуске Петербург и Киев и там, в тылу, проявлял большую храбрость, подтягивая молодых офицеров, солдат, ресторанных лакеев и штатскую публику. Страшный вид громадного усача с кинжалом производил потрясающее впечатление, и ему все сходило.

Жуткие призраки

«Туземцы» лишены были общества своей дамы: Лара приглашена была к своей петербургской знакомой, находившейся в окружении императрицы Марии Федоровны. Молодежь кутила где-то за Днепром, а Светлов обедал в обществе крупного чиновника, такого же, как и он, балетомана. Пообедав в «Континентале», часть «туземцев» поднялась в номер Тугарина, чтобы решить дальнейший образ действия – оставаться ли дома или поехать за Днепр и этим доставить удовольствие себе и молодежи? Меньшинство вместе с Барановым призывало к благоразумию: поболтать часок-другой и лечь спать. Большинство же возмутилось:

– Ложиться спать в такое детское время? Закатимся за Днепр. Там, говорят, удивительный хор, женщины одна другой краше!

На этот раз, к всеобщему удивлению, Тугарин не пристал к большинству:

– Нет, в самом деле, чего мы будем носить, как угорелые. И здесь хорошо... Никуда не тянет...

Заур-Бек погрозил ему:

– Знаем, отчего тебя никуда не тянет!

– Ничего ты не знаешь.... А просто надоел мне этот загул. Скучно тебе без вина? Я потребую вина, и будем сидеть.

Подъехал Светлов, так и насыщенный весь новостями. С обеда с человеком из высших сфер он унес много впечатлений.

– В ставке был принят бежавший из австрийского плена генерал Корнилов. Побег был совершенно исключительный, прямо сказочный. Корнилов две недели ничего не ел, чтобы вызвать упадок сил. Его перевели в госпиталь, откуда он и бежал. Корнилов скитался более двадцати суток, днем, как зверь, забившись в лесную чащу, а ночью шел к румынской границе, питаясь сырым картофелем, да и то не всегда. Только переплыв через Дунай и заявив румынской пограничной страже, кто он, беглец почувствовал себя в безопасности.

В ставке он сделал подробный доклад обо всем, что наблюдал, видел и слышал в плену.

Германцы, не надеясь разбить нас силой оружия, тратят большие деньги на революци-

онную пропаганду в нашей армии и в нашем тылу. Верные пособники их – наши же русские социалисты, как живущие в Швейцарии, так и свои собственные. Германо-австрийский штаб обрабатывает военнопленных из южных губернии, доказывая, что они украинцы, и Россия не только чужда им, но и глубоко враждебна. Украинцев хорошо одевают и кормят, надеясь, когда пробьет час, использовать их против России.

– Когда пробьет час? Как это понимать? – спросил недавно контуженный, а потому с особенным вниманием вслушивающийся Верига-Даревский.

– Как это понимать? – переспросил Светлов, – Конечно, эти украинские части формируются не для войны, протекающей в нормальных условиях. Было бы чудовищным, да и прямо невозможным вооружить военнопленных и бросить их на их же собственную армию.

– Значит мы тоже поступаем чудовищно, – возразил Баранов, – формируя из военнопленных чехов чешские дружины, а из военнопленных сербов – сербскую дивизию? При

этом те и другие уже на фронте и дерутся против своих же...

– Это совсем другое дело, – возразил в свою очередь Светлов, – и чехи, и сербы шли в русский плен во имя великославянской идеи, шли именно затем, чтобы штыками своими содействовать освобождению австрийских славян... Предусмотрительные немцы почти не сомневаются, что революция в конце концов у нас будет, и вот тогда-то они, осуществляя давнишнюю свою про – грамму отторжения Украины, для закрепления этой Украины за собой, наводнят ее несколькими корпусами из наших украинизированных по берлинскому и венскому образцу военнопленных.

– Это мы еще посмотрим, – с вызовом бросил Тугарин, – слишком рано задумали немцы делить шкуру северного медведя. Крепко еще стоит он на своих четырех лапах и доказал, что здорово умеет огрызаться. И если уж до сих пор не справились с этим медведем, и он продолжает наносить чувствительные удары, не имея и патронов, ни снарядов, то через несколько месяцев, когда мы будем снабжены через край, мы их раздавим... Я

уже не говорю об австрийцах, но и Германия, недоедающая, мобилизовавшая стариков и мальчишек, посылающая на фронт горбатых и хромых, трещит по всем швам...

– Так ли это? – тихо, не горячась, он никогда не горячился, усомнился Светлов. – Именно в том, что они посылают хромых и горбатых в этом я вижу грозную вещь для нас. Жертвуя, как пушечным мясом, ненужно калеча свои кадры, цвет своей армии они берегут, делая то, чего не делали мы, к сожалению. Мы и преступно, и глупо в первый месяц войны бросили в огонь и нашу гвардию, и наше профессиональное офицерство, все то, что надо было беречь до последнего решительного удара и для того, чтобы задушить навязываемую нам революцию.

– Неужели сами-то вы серьезно верите в возможность революции? – задало вопрос несколько голосов вместе.

– Я не верю в нее, но я ее не исключаю, не исключаю потому, что не верю в прапорщиков, заменивших выбывших настоящих офицеров. Эти штатские господа в офицерской форме в большинстве своем не хотят воевать

и, кроме того они еще и с политической левизной. Я не верю в эти миллионные армии из скорообученных солдат, а то и совсем не обученных. Они так же охотно дезертируют с фронта, как и сдаются в плен. Цифры самые убийственные. Русских военнопленных в Германии около двух с половиной миллионов, а в бегах около миллиона. Да, да, в бегах. Их невозможно переловить. Извольте-ка переловить миллион шкурников, желающих скрываться и ни под каким видом не желающих воевать? В Петербурге согнано около двухсот тысяч записных. Тоже горючий материал для революционной демагогии. Все это городская накипь в солдатских шинелях. Да и разве место подобным скопищам в столице? Охранять спокойствие и порядок в столице и охранять царствующую династию должна гвардия. А гвардия вся на фронте, да и то в разгромленные, опустошенные части влилось скороспелое воинство, весьма склонное сдаваться в плен и дезертировать. Сохрани и помилуй нас Бог от революции вообще и особенно во время войны. Но, повторяю, она возможна, и самоутешением было бы закрывать глаза...

Седой романист-балетоман умолк, и все молчали кругом. Даже самых смелых охватила какая-то растерянность. Читалось на лицах одно и то же: если кругом такое трагическое сплетение из преступности, недомыслия, бесталанности и предательства, ибо делающие революцию – предатели, то во имя чего красивые порывы, подвиги и отдельные яркие, героические страницы? Во имя чего, когда что-то слепое, темное сводит на нет и порывы, и подвиги и рвет, и топчет яркие страницы? У самых сильных, самых стойких должны опуститься руки...

И выражая вслух овладевшее всеми настроение, Тугарин, как бы очнувшись, молвил:

– Слов нет, много правды в том, что сказано сейчас Валерианой Яковлевичем. Но Валериан. Яковлевич романист, человек воображения, а потому повышенной чувствительности. Он весь под влиянием услышанного час назад. Его пугает количество военнопленных и дезертиров. Конечно, это влияние приискорбное, но неизбежное при многомиллионных армиях. В наше время нет профессио-

нальных бойцов, нет ландскнехтов. Те не сдавались и не убегали. Пример – наша «туземная» дивизия. У нас есть живые в строю, есть убитые на поле брани, наши горцы одинаково презирают как плен, так и самовольное оставление фронта. Почему? Потому, что их воинствующая религия устами и примером отцов и дедов воспитывает их с детства лихими джигитами, и воспитывает в традициях доблести!..

– Вы кончили? – спросил Светлов и, получив утвердительный ответ, продолжал. – Тугарин лишний раз доказал, что мы находимся в исключительных условиях. В своих «туземцев» мы верим, как они верят нам... В этом наше преимущество, и в этом наш плюс...

– А в чем же наш минус? – не выдержал кто-то нетерпеливый.

– Минус же в том, что мы замкнуты в нашей дивизии, как в благодатном оазисе, и почти не видим и не знаем, что делается за его пределами. Мы не сталкиваемся с армией и не знаем ее армейских настроений. Наше собственное боевое и политическое благополучие невольно заставляет думать, что и вне

нашей дивизии, вне нашего маленького государства, в необъятном государстве все обстоит благополучно. И если бы не моя сегодняшняя встреча с человеком, по положению своему знающим очень многое, я и сам был бы спокойнее да и не смутил бы ваш покой. Но, по-моему, лучше знать горькую правду, чем тешить себя сладостными иллюзиями. Перед двойной опасностью, я убежден, дух наш не только не угаснет, а воспрянет с новой силой, и мы будем бороться, бороться на два фронта.

– Бороться на видимом фронте с видимым противником, это мы умеем, это мы блестяще доказали, – покручивая свой янычарский ус, подхватил Заур-Бек, – а вот как бороться с бесплотными силами, с наваждением, с призраками... Здесь одной джигитской храбрости и наших кавказских кинжалов и шашек недостаточно... И опять воцарилось тягостное молчание.

Без пяти минут поединок

У Лары вошло в привычку, и привычку желанную, видеть Тугарина. Видеть не только ежедневно, но и по несколько раз в день. Но оставаться с ним с глазу на глаз она подчеркнута избегала. А это было совсем не трудно. Лара и Тугарин почти все время неотделимы от группы «туземных» офицеров.

Эта группа то уменьшалась, то увеличивалась. Одни возвращались в свои полки, другие ехали дальше, в Петербург и Москву, желая как можно полнее использовать отпуск свой. Но вместо них прибывали новые офицеры в папахах и черкесках.

Улучив однажды минуту, когда они остались вдвоем, Тугарин жадно, нетерпеливо, боясь, что вот-вот помешают, спросил:

– Лариса Павловна, почему вы меня избегаете?

– Я вас избегаю? Наоборот, мы проводим вместе все время.

– Нет, я не об этом, – с досадой вырвалось у него, – почему вы не хотите быть со мной, только со мной?

– Потому что... вспомните нашу беседу в Царском саду. Мы говорим на разных языках, но от вас зависит, чтобы наш язык сделался общим. Мне приятно видеть вас, чужие насколько не мешают мне.

– А мне мешают, – подхватил он.

– Вот, вот! Вам мешают. Останься вы наедине со мной, вы тотчас же бросились бы меня целовать...

– А вы не хотите моих поцелуев?

Она смотрела на него неувлимым взглядом, где было и что-то притягивающее, и что-то нежное, и что-то насмешливое. Вслед за глазами должны были заговорить губы. И они уже шевельнулись, но – встреча была в холле гостиницы – к ним подходил великолепный усач Секира-Секирский. Сняв папаху, он галантно склонился к руке Лары.

Тугарин мысленно отправил его ко всем чертям. А Секира счел своим долгом заниматься интересную петербургскую даму.

– Всадники моей сотни с восторгом вспоминают ваши подарки. То были дни затишья, то был пикник... А едва только вы, уехали, начался ад. Восемь дней и ночей в непрерыв-

ных боях. У меня было одиннадцать конных атак.

Тугарин кусал губы. Он даже пропустил без внимания бахвальство Секиры, никогда за всю войну не принимавшего участия ни в одной атаке.

А Лару забавляло это вранье. Она провоцировала колоссального ротмистра, и он потерял всякое чувство меры.

В этот же день они обедали втроем – Лара, Тугарин и Секира-Секирский. Секира говорил без умолку, а Тугарин был молчалив и мрачен. Будь на месте Секиры кто-нибудь другой, Тугарин давно бы, придравшись к чему-нибудь, наговорил бы ему дерзостей. Но, зная, что Секира беспомощен, труслив, а если на него прикрикнуть, то и жалок, Тугарин не хотел и не мог бить лежачего. А между тем так хотелось на ком-нибудь или на чем-нибудь сорвать строптивное сердце свое.

Взгляд его упал на вошедшего в ресторан подполковника генерального штаба. Лысый, бледный, выхоленный, с моноклем в глазу, одетый с иголки: новенький френч, новенькие, темно-синие бриджи и мягкие шев-

ровые сапоги.

Подполковник, прищурившись, осмотрелся с полубрезгливой, полупрезрительной гримасой. Когда он увидел в глубине великого князя Александра Михайловича, гримаса сбежала, сменившись почтительным выражением. Подполковник, вынув из глаза монокль, подошел к великому князю и спросил разрешения сесть и, уже вновь «надев» брезгливо-презрительную маску, занялся поисками места. И вот тут-то он увидал и узнал Лару. Эта встреча повергла его в неприятное удивление. Так вот где она очутилась, эта исчезнувшая из Петербурга беглянка и, вдобавок, в обществе офицеров Дикой дивизии; это уж совсем дурной тон...

И подполковник секунду колебался – подойти или не подойти? И решил подойти. Разумеется, никаких упреков. Это было бы мещанством. Упреки потом, а сейчас он будет светским человеком и только.

И с наигранной улыбкой он приблизился к ней.

– Лариса Павловна, вы ли это? Вы ли? Вот неожиданная, негаданная встреча! Я знал,

что вы уехали в неизвестном направлении, хотя нет: Кто-то мне говорил, что вы куда-то повезли какие-то подарки...

Секира, увидев перед собой подполковника, да еще генерального штаба, выжидательно встал. Тугарин же остался сидеть как сидел.

– Вы разрешите пообедать в вашем милом обществе? – спросил подполковник Лару, как бы не замечая тех, кто был с нею.

– Пожалуйста. Господа, позвольте вас познакомиться – капитан Шепетовский.

– Подполковник, Лариса Павловна, подполковник, – веско поправил Шепетовский, – вы меня можете поздравить с монаршей милостью, я на днях произведен. Видите, на погонах два просвета, два, а был один.

Шепетовский, не глядя, протянул руку обоим офицерам и сел.

Хотя Лара была спокойной, хотя Шепетовский держал себя с преувеличенной корректностью, но Тугарин чутьем самца угадал, что это именно и есть последний роман Лары.

Шепетовский, тщательно обдумав, заказал обед, откинулся на спинку стула, поблескивая

моноклем.

– А вы, я вижу, Лариса Павловна, не скучаете. О женщины! Вы свободны как ветер, вы можете порхать без конца, тогда как мы, мужчины, полны дел и хлопот. Я, например, вы думаете, я очутился в Киеве собственного удовольствия ради?

– Я этого совсем не думаю.

– И вы совершенно правы. Я получил серьезную, ответственную командировку на юго-западный фронт.

Будь Лара одна, Шепетовский этим бы ограничился, но дальнейшее было уже сказано не для нее, а для этих «туземцев», пусть проникнутся уважением.

И громко, отчетливо он продолжал:

– Я еду на юго-западный фронт для организации кавалерийских набегов в неприятельском тылу.

Эффект получился, но совершенно обратный тому, коего ожидал сам Шепетовский, Тугарин спросил его:

– Позвольте узнать, господин подполковник сами-то вы кавалерист?

Шепетовский впервые удостоил взглядом

Тугарина. Решительное лицо и, кроме этого, еще какой-то вызов... Не нарваться бы с этой армейщиной, да еще надевшей кавказскую форму.

И, растягивая слова и уже не глядя на Тугарина, Шепетовский ответил:

– Я начал службу в гвардейской пехоте, но Академия генерального штаба мановением волшебной палочки превращает пехотинца в...

– В табуретных Мюратов и Зейдлицев? перебил, подхватывая, Тугарин. – Имея кабинетное понятие о коннице, они думают нас, боевых кавалеристов, поучать набегам в тылу?

– Ротмистр, вы... вы... забываетесь, – прошипел подполковник.

– Ничуть. Я критикую не вас лично, а всю систему, весь ваш «гениальный» штаб, который все умеет и все знает.

Шепетовский обратился с каким-то вопросом к Ларе. Ему подали раковый суп, но аппетит был уже испорчен. Побледневший Секира сидел ни жив, ни мертв. Он даже отодвинулся от Тугарина, а в глазах Тугарина вспыхивали задорные, веселые огоньки. Он подозвал к се-

бе лакея.

– Скажи там, чтобы кликнули сверху моего денщика.

Через минуту перед Тугариным вырос красивый всадник-грузин с Георгиевским крестом, коим удостоили за участие в бою со своим ротмистром, что в денщицкие его обязанности совсем не входило. Но, во-первых, он любил своего барина, а во-вторых, в жилах его, текла горячая грузинская кровь.

– Майсурадзе!

– Что прикажете, ваше высокоблагородие? – лихо вытянулся денщик.

– Кто был первый офицер генерального штаба?

– Моисей, ваше высокоблагородие.

– Почему?

– Потому что сорок лет бесцельно и бесполезно водил евреев по пустыне, – без запинки отрапортовал Майсурадзе.

– Спасибо, молодец. Можешь идти.

– Рад стараться, ваше высокоблагородие.

Дрожа от злости и сделавшись из бледного зеленым, Шепетовский отодвинул тарелку с начатым раковым супом. И, глядя на Лару,

как если бы она была виновницей всего, заговорил:

– Это... это... недопустимое безобразие... Я... лично я выше всяких оскорблений, но, – когда оскорбляют мундир, мундир, который я имею честь носить, и... мало этого, когда делают нижних чинов участниками этого... этой возмутительной травли, я этого так не оставлю... Неуравновешенный ротмистр понесет должное...

– Уравновешенный подполковник, – перебил Тугарин, – я готов дать вам удовлетворение... и не только вам, а всем тем офицерам генерального штаба, которые пожелали бы защищать белоснежную чистоту своих серебряных аксельбантов...

Секира-Секирский не выдержал: этот сумасшедший Тугарин натворит Бог знает что, подалее от греха. И громадный усач, откашлявшись, чтобы прогнать неловкость, буркнув что-то про себя, боком, нерешительно встал и, так же боком, нерешительно удалился. Уже миновав опасную зону, Секира-Секирский выкатил грудь колесом и стал, как всегда в мирной, не боевой обстановке, молоде-

ватый, brave, одним видом внушающий кому страх, кому удивление, кому восхищение. Исчезновение его не было замечено ни Ларой, ни Шепетовским, ни Тугариным.

Шепетовский, опять-таки глядя на Лару, ответил своему противнику:

– Обер-офицер не имеет права вызывать на дуэль штаб-офицера.

– Ах вот как! Вам угодно прикрыться своими девственными подполковничьими погонами. А если бы ваше производство на несколько дней запоздало, и вы были бы еще капитаном? Вы приняли бы мой вызов? И, наконец, если при всех, сейчас, я вас оскорблю действием? – сам себя взвинчивал Тугарин, и насмешливые огоньки его глаз уже сменились гневными искрами.

Шепетовский молчал. Это самое лучшее. Одно, самое невинное, слово может погубить все; под этим «все» Шепетовский разумел свою карьеру. Пощечина, да еще в ресторане, на глазах великого князя – это конец всему. С пощечиной уже не доедешь до юго-западного фронта для организации кавалерийских набегов в неприятельском тылу.

Единственный выход – предупредить оскорбление действием и за оскорбление словами застрелить безумного ротмистра. Но опять-таки неизбежен скандал, а самое главное, он, Шепетовский, ни за что не отважился бы прибегнуть к оружию, хотя был при отточенной шашке, а в заднем кармане бриджей у него лежал браунинг.

Встать и уйти? Заметят. И так уже замечают. Их стол делается центром внимания, по крайней мере, для ближайших соседей.

К великой радости Шепетовского положение спас не кто иной, как сам Тугарин.

Он спросил Лару:

– Лариса Павловна, вам желательно общество этого господина?

– Ради Бога, уведите меня отсюда!

– Вот именно это я и хотел вам предложить. Вашу руку.

И он увел ее, а Шепетовский, расплатившись, довольный, что все кончилось благополучно, поехал обедать в отдельный кабинет гостиницы «Европейская».

Насытившись в единственном числе, застрахованный от всяких сюрпризов, Шепе-

товский, прихлебывая кофе и дымя папироской, начал обдумывать суровый и беспощадный рапорт начальству. Этим он разом убьет двух зайцев, даже трех: восстановит свою собственную честь, честь оскорбленного мундира офицера генерального штаба и разделается с любовником Лары.

Часть вторая

Два разных мира, две разные совести

События замелькали с такой стремительностью – воображение едва поспевало за ними, а мозг никак не мог ни объять, ни вместить. Это была не жизнь, а кинематограф. Но какой страшный кинематограф. Какая трагическая смена впечатлений.

Бунт в столице. Бунт запасных батальонов, давно распропагандированных, не желающих воевать, а желающих – это выгоднее и легче – бездельничать и грабить.

Петербург, такой строгий и стильный, очутился во власти взбесившейся черни.

Слабая, бездарная власть потеряла голову. Не будь она бездарной и слабой, она легко подавила бы мятеж, подавила бы только с помощью полиции и юнкеров. Новая революционная власть – в руках пигмеев. Эти пигмеи, в один день ставшие знаменитыми, убеждены, что это они вертят колесо истории. А на са-

мом деле это колесо бешено мчит уцепившихся за него жалких, дрожащих пигмеев.

Мчит. Куда? К геростратовой славе или в бездну. Пожалуй, и туда, и туда.

Рухнула тысячелетняя Россия, сначала княжеская, потом царская, потом императорская.

Два депутата Государственной думы, небритые, в пиджаках и в заношенном белье, уговорили царя отречься. И он покорно сдал не только верховную власть, но и верховное командование.

Подписав наспех составленное на пишущей машинке отречение, самодержец величайшего в мире государства превратился в частное лицо, а через два-три дня – в пленника.

Низложенный император, теперь уже только семьянин, спешит в Царское Село к больным детям, но какой-то инженер Бубликов, человек со смешной, плебейской фамилией, отдает приказ не пускать поезд к революционной столице, и поезд, как затравленный, судорожно мечется между Могилевым и станцией Дно, никому неизвестной, вдруг по-

павшей в историю, как попали в нее маленький Бубликов и маленький адвокат Керенский.

При этом первом демократическом министре юстиции медленно догорело великолепное старинное здание окружного суда, и были выпущены из тюрем все уголовные преступники.

Революция началась, как и все революции – под знаком отрицания права и под знаком насилия.

Тысячи недоучившихся студентов, фармацевтов, безработных адвокатов, людей ничему никогда не учившихся, надев солдатские шинели, нацепив красные банты, хлынули на фронт убеждать солдат, что генералы и офицеры – враги их, что генералам и офицерам не надо повиноваться и отдавать честь, ибо это унижает человеческое достоинство. Этих гастролеров обезумевшие солдаты носили на руках и верили им гораздо больше нежели тем, кто около трех лет водил их в бой и вместе с ними сидел в окопах под неприятельским огнем.

Темные разнородные силы, сделавшие ре-

волюцию, выбрали удобный момент. Еще два-три месяца и, оставаясь русская армия стойкой, дисциплинированной, Россия победила бы, победила бы даже без наступлений. Держаться было легко, имея под конец такую же мощную артиллерию, какая была у противника. Целые горы снарядов громоздились под открытым небом на всем пространстве необъятного фронта. Этих запасов смертоносного металла с избытком хватило бы, чтобы под осколками его по легла истощенная, измученная германская армия.

Но теперь, когда русские дивизии и корпуса превратились в митингующие дикие орды, если и опасные кому-нибудь, то только своим же собственным офицерам, – теперь немцы могли вздохнуть свободно. Теперь для них восточный фронт был вычеркнут, остался один только лишь западный.

Успехи фаланг Макензена с их артиллерийским пеклом побледнели перед этой неслыханной бескровной победой.

Революционная власть демагогически, с маниакальным упорством вдабливала в головы людей в серых шинелях:

– Солдату – все права и никаких обязанностей!

И армия – не могло быть иначе – разлагалась. Особенно удачно протекало разложение в пехоте. Кавалерия, более дисциплинированная и в силу меньших, нежели у пехоты, потерь, имевшая в рядах своих кадровых солдат и офицеров, не так поддавалась преступной пораженческой агитации.

Но все же частями, в коих совсем не чувствовалась буйная и безумная, сменившая империю анархия, были мусульманские части: Дикая дивизия, Текинский полк и крымский конный Татарский.

Дикую дивизию революция застала в Румынии.

Тщетно пытались полковые и сотенные командиры втолковать своим «туземцам», что такое случилось и как повернулся ход событий. «Туземцы» многого не понимали и, прежде всего, не понимали, как это можно быть «без царя». Слова «Временное правительство» ничего не говорили этим лихим наездникам с Кавказа и решительно никаких образов не будили в их восточном воображе-

нии. Они постановили так:

– Царю не следовало отрекаться, но если он отрекся – это его державная воля. Они же, «туземцы», будут считать, как если бы ничего не изменилось. Революция их не касается и если русские армейские солдаты безобразничают и оскорбляют своих офицеров, то для них, «туземцев», свое начальство есть и останется на такой же высоте, как это было до сих пор. У армейских солдат – своя совесть, у горцев Кавказа – своя. И в силу этой самой совести, повинувшись офицерам и своим муллам, они без царя будут воевать с такой же доблестью, как воевали при царе.

И еще не могли они понять, как это военный министр может быть из штатских людей. Как это можно отдавать воинские почести человеку в пиджаке и в шляпе. Вначале хлынувшие на фронт агитаторы из адвокатов и фармацевтов, загримированных солдатами, пробовали начать разрушительное дело свое среди «туземцев», но каждая такая проба неизменно завершалась весьма плачевно для этих растлителей душ.

В лучшем случае «туземцы» избивали их

нагайками, в худшем – выхватывали кинжалы, и тогда уже офицеры вмешательством своим спасали жизнь агентам Керенского.

Агенты, у коих при неуспехе наглость сменялась трусостью, униженно благодарили офицеров, получая от них весьма назидательную отповедь:

– Пусть ваши революционные головы хоть слегка призадумаются над этим: вы зачем шли к нам в дивизию? Чтобы расшатать авторитет наш среди всадников, как это вы сделали в армии? Но именно потому, что авторитет наш остался в полной мере и не вам поколебать его, потому-то вы и целы и не превращены в котлеты кинжалами горцев. Да будет это вам уроком. Не суйтесь больше к нам! Лозунги ваши здесь не ко двору, не могут иметь успеха. Чем вы берете в армии? Тем, что говорите: «Вы теперь свободные граждане, бросайте фронт и с винтовками ступайте в тыл делить помещичью землю». И армейцы, с их отвращением к войне, с шкурническим страхом быть убитыми, с их жадностью к чужой земле, слушаются вас. Для наших же горцев война – желанная стихия, а смерть в бою – по-

четный удел джигита, вот почему вас встречают не аплодисментами, а нагайками и кинжалами. Кроме того, наши горцы не собираются делить чужую землю – им достаточно своих аулов и своих пастбищ; унесите же подобру-поздорову ваши ноги да и товарищам вашим передайте, чтобы обходили «туземцев». Больше мы никого из вас выручать не будем. Пусть они режут вас, как баранов! Да вы и не стоите лучшей участи. Все вы мерзавцы, предатели и ведете Россию к гибели!

С тех пор закаялись агитаторы смущать горцев, избегая даже показываться по соседству с Дикой дивизией. На что Керенский, и тот, несмотря на все свое желание посетить Дикую дивизию, так и не решился приехать. Ему дано было понять, что его дешевое красноречие не только не будет иметь успеха, а, фигурально выражаясь, он будет встречен «мордой об стол».

Мечты о диктатуре

Это уже не был нежно разметавшийся на холмах и долинах весь в зелени Киев. Это не были апартаменты «Континенталья». Это был маленький номер маленького загрязненного отеля в провинциальном городе Яссы, временной столице Румынии. Немцами занят был Бухарест. Королевская семья и весь двор переехали в Яссы.

Но офицеры Дикой дивизии, собравшиеся в маленьком номере гостиницы «Траян», были все те же! Революция почти никого из них не сломала, не поколебала, не принизила, и этим в значительной степени обязаны они были своим всадникам, тоже не сломленным и не поколебленным.

Когда армейские солдаты избивали своих офицеров, оскорбляли, плевали в лицо не только в переносном, а в самом подлинном значении слова, – среди этого безумия и полного развала «дикие» горцы казались еще дисциплинированнее, чем до революции.

Яссы были таким же тылом для румынского фронта, каким был Киев для юго-западного.

И в Яссы, как и в Киев, укрывались офицеры «туземной» дивизии отдохнуть и развлечься.

В табачном дыму, за стаканом местного вина обсуждались события. Обсуждались в сотый, а может быть, в тысячный раз. Наболевшее всегда и остро, и жгуче, и ново являет собой незаживающую рану.

Адъютант Чеченского полка Чермоев, с заметным кавказским акцентом, приятным и мягким, поблескивая умными живыми глазами, убеждал:

– Если бы конвой государя состоял не из казаков, а из наших горцев-мусульман, как это было при Александре II, конвой не допустил бы отречения.

– Как это мог бы конвой не допустить? – не понял Юрочка и обиделся за государя.

Баранов, не дав ответить Чермоеву, накинулся на Юрочку со свойственной ему, Баранову, резкостью, не допускающей возражения:

– Вот, вот, все вы такие! Всё вы в шорах! Потому и нет царя, потому погибла Россия. Я знаю, знаю наперед, что вы скажете! Раз, мол, царь отрекся, верноподданные должны по-

корно с этим примириться. А между тем как раз наоборот. Долг верноподданного рассуждать, а не слепо повиноваться. Отречение было вырвано у государя силой или почти силой, а поэтому надо было аннулировать это отречение тоже силой! Чермоев прав! Туземцы конвоя не приняли бы этого пассивно. Они по-своему расправились бы и с теми, кто приехал «отрекать» государя, да заодно и с теми генерал-адъютантами, которых он осыпал милостями и которые отблагодарили его, участвуя в заговоре против него.

– Баранов не знает полумер и полутонув, – заметил Юрочка, – что же, по-вашему, Алексева и Рузского следовало повесить?.

– Тут же, перед поездом, на фонарных или каких там еще столбах! – горячо подхватил Баранов. – Изменники, изменники с генерал-адъютантскими вензелями! Разве все загадочное поведение Алексева в ставке не измена? Разве поведение Рузского в Пскове не измена? А как он осмелился кричать на государя и, вырвав у него вместе с приехавшими депутатами Думы отречение, воспротивился вернуть, когда спохватившийся государь по-

требовал назад? Это не измена? Помните, по воле государя нашей дивизии приказано было грузиться, чтобы идти в Петроград и не допускать никаких мятежных выступлений? И уж будьте спокойны, революции не было бы, – уверенно пообещал Баранов. – И что же? В самый последний момент приказ был отменен, и мы остались на фронте. «Туземцы» в Петрограде – это не входило в план алексеевых и рузских. А получилось вот что! – порывисто подойдя к окну, Баранов широким жестом показал вниз на площадь, с загаженным фонтаном посередине. Площадь была запружена скучающими, одуревшими от праздности и безделия русскими солдатами. Всклопоченные, немытые, в расстегнутых гимнастерках, с нацепленными куда попало красными бантами, они давно утратили не только воинский, но и человеческий вид. Это была толпа, лущившая семечки, готовая митинговать, грабить, насильничать, делать все, что угодно, только не подчиняться своим офицерам и не воевать.

И хотя эта картина была до отвращения знакомая, но вслед за Барановым и все

остальные подошли к окну. Летний воздух, пыльный и мутный, прорезался певучим сигналом – гудком королевской машины.

Сухой, горбоносый профиль короля Фердинанда. Рядом – его начальник штаба генерал Прецан. Толпа русских солдат препятствовала движению. Королевская машина замедлила ход. Солдаты с неприятной тупостью смотрели на союзного монарха. И ни одна рука не потянулась отдать честь, ни одна! Какая там честь, когда этим солдатам внушалось, что здешнего короля надо так же свергнуть, как свергли они у себя Николая.

Баранов, покраснев, захлопнул окно. И все кругом вспыхнули. Было стыдно, мучительно стыдно за русскую армию...

Что должен был думать о ней этот русский фельдмаршал в голубой форме румынского генерала? А ведь всего несколько месяцев назад он пропускал мимо себя русские полки, шедшие на фронт, и, сам солдат с головы до ног, восхищался их молодецким видом, выправкой, подтянутостью. Казалось, с такими бойцами можно опрокинуть какую угодно мощь, даже германскую!

Казалось, тогда... А теперь...

И Тугарин, вслух заканчивая предполагаемые мысли румынского короля, после некоторой паузы молвил:

– Да, был царь, была армия, а нет царя, нет и армии, вместо армии – сброд, сволочь... И от стыда, и от боли так горит лицо, так горит, как если бы тебе надавали пощечин...

– А главное, главное, – подхватил Юрочка, – весь ужас тех, кто понимает и болеет, ужас в сознании нашего собственного бессилия, нашей полной беспомощности. Никто и ничто не в состоянии прекратить этот стихийный развал. Мы, то есть не мы лично, а Россия и с нею армия, да и мы, пожалуй, мы обреченные! Все катилось по наклонной плоскости, докатилось и рухнуло в бездну...

– Опомнись, Юрочка, если все мы будем думать как ты, сохрани и помилуй Бог! – возразил Тугарин. – Тогда мы, разумеется, обреченные. Но нет же, нет, тысячу раз нет! Все это, – и он показал на окно и на площадь, можно остановить на самом краю бездны, и не только остановить, а и железной рука взнудать, навести порядок! И эта рука должна явиться

справа, но, смахнув слюнявую керенщину, она явится слева. И тогда вся эта орда, пускавшая папиросный дым чуть ли не в лиц Фердинанду, будет закована в цепи такой дисциплины, какой никогда не снилось ни одной императорской армии! Это будет полчище аракчеевских шпицрутенов! – твердо, как-то пророчески звучал голос Тугарина.

И все поверили, поверили, что так именно и будет, если не явится диктатура справа, он придет слева.

– Но что же делать? Где выход? – с тоской вырвалось у Юрочки.

– Выход? – резко переспросил Тугарин. – Выход единственный. Выжечь каленым железом гнойник, ударить по тому самому месту где началось, откуда пошла зараза. Захват Петрограда, беспощадное физическое уничтожение совета рабочих депутатов, несущего большевизм, и твердая национальная власть! Все это может проделать одна кавалерийская дивизия, лучше всего «туземная»! Но, конечно, не с таким ничтожеством и трусом, как наш Багратион, во главе.

Эта беспощадная характеристика ни в ком

не встретила возражения.

Великий князь Михаил уже давно покинул дивизию. Вначале он командовал конным корпусом, а потом назначен был на пост генерал-инспектора кавалерии. Дикую дивизию получил князь Багратион, пустой человек, бесталанный генерал, болтун, трусливый не только на боевом поле, где он, кстати, ни разу не был, но и в житейском, и да политическом значении слова.

– Великий князь, – продолжал Тугарин, – теперь гатчинский узник. Эта сволочь из совета рабочих депутатов контролирует каждый его шаг. А нам, нам он нужен был бы как знамя. Его можно освободить, похитить, наконец, вместе с ним войти в Петроград и провозгласить императором...

– Но ты же сам знаешь великого князя, – ответил кто-то, – великий князь питает отвращение к власти. Вспомни, как легко он сдал ее, сдал свое право на престол после отречения государя.

– Как смеет он питать отвращение к власти когда Россия гибнет? – с засверкавшими глазами ударил по столу Тугарин. – Силой за-

ставили бы идти вместе с нами. Лучше ему быть нашим пленником, своих верноподданных, чем пленником засевшей в Смольном черни – черни, предводимой адвокатишками и фармацевтами. Если мы настоящие монархисты, любящие родину, мы должны действовать революционно, откинув мертвую дисциплину, откинув слепое повиновение. В этом я вполне схожусь с Барановым. Если бы все офицерство мыслило так, все было бы иначе, и государь стоял бы во главе армии и не был бы сослан в Тобольск. Даже после отречения его надо было увезти на фронт и, не считаясь с его волей, «заставить» продолжать быть императором. Потребовать усмирения Петрограда. И усмирили бы. Усмирили бы железом и кровью. Но, повторяю, даже теперь не поздно. Весь вопрос в сильном смелом человеке, который повел бы и за которым пошли бы. Генералы наши провалились на экзамене. Да и зачем непременно генерал? Пусть это будет боевой полковник, пусть это будет ротмистр, поручик, мы ему все подчинимся, а с таким, как Багратион, будем до конца пить из чаши унижения и позора...

Накануне событий исключительной важности

Лара жила на Шпалерной, у Таврического сада. Из своих окон видела начало революции: центром и мозгом начала был Таврический дворец с Государственной думой. А Государственная дума была популярна в так называемых «массах», и только слабость растерявшегося председателя ее, Родзянки, допустила самочинно и самовольно сформироваться совету рабочих и солдатских депутатов.

Будь Родзянко сильнее, он мог бы задержать в своих руках всю полноту власти и снести голову демагогическому младенцу без рода, без племени, со смешной кличкой «совет рабочих депутатов». Как будто в России никого, кроме солдат и рабочих, не было и как будто лишь только они, эти темные люди, могли управлять страной.

Лара видела из своих окон одурелые толпы, серые, скучные, расцвеченные красными бантами, флагами и красными гигантскими плакатами на нескольких древках, несомых

несколькими людьми. Безвкусное обилие красного цвета угнетало и раздражало всех тех, кто среди этого буйного помешательства сохранил ясность рассудка.

Лара видела из своих окон, как пьяное хулиганье нападало на офицеров, снимая с них оружие, срывая погоны. Видела, как такие же пьяные банды врывались в подъезды особняков, официально – желая найти оружие, неофициально – желая пограбить.

Лара видела, как прошел к Думе гвардейский экипаж из матросов, один к одному, богатыри и красавцы. Вел этих богатырей их командир, тоже красавец, великий князь Кирилл Владимирович, пожалуй, один из всей династии не потерявший голову и попытавшийся что-то сделать и спасти. Спасти хотя бы остатки рухнувшей империи.

Он предложил свои услуги Родзянке не как великий князь, а как обыкновенный смертный, имевший в своих руках отдельную воинскую часть. И еще можно было бы что-то наладить, что-то восстановить, что-то сбегать, но Родзянко, теряясь все более и более под напором слева, дал неопределенный от-

вет:

– Мы будем иметь в виду предложение вашего высочества.

И трагедия в том, что Родзянко, честный русский человек и несомненный патриот, и умом, и душою был, несомненно, не с Керенским, с которым волей-неволей должен был сотрудничать, а с великим князем, сотрудничество коего отверг.

В этой личной трагедии Родзянко была трагедия всего русского дворянства, мягкотело-либерального, так же потерявшего вкус и аппетит к власти, как потерял я то, и другое несчастный государь.

А между тем низы и полуинтеллигентская накипь весьма быстро вошли во вкус власти и обнаружили прямо чудовищный аппетит к ней.

Многое видела Лара из окон. Сама она как-то двоилась в своих ощущениях и переживаниях.

Революция так была гадка, так отвратительна ей, что могла бы свести с ума, если бы не владевшая всем существом любовь. А так как чувство малое и большое всегда прежде

всего эгоистично, то и революцию она воспринимала скорее внешне. Все, что не было им, Тугариным, любимым человеком, отходило на второй план. Эти скопища с красными флагами казались скопищами статистов в плохой постановке плохого театра.

Однажды этих самых статистов ей пришлось наблюдать не только из своих окон, как из ложи, а у себя в квартире. В первые же дни революции, в самом начале марта, к ней ворвалась полупьяная кучка людей в шинелях и без шинелей.

На ее вопрос, что им надо, они отвечали:

– Так что, здесь прячутся эти самые кавказские ахвицеры, которые вообще против народной свободы.

– Ищите, – ответила Лара.

Искали, обошли всю квартиру, кавказских офицеров не нашли, но кое-какие драгоценности из туалетных ящиков исчезли вместе с ними.

Позже Лара случайно узнала: эти люди подсланы были полковником – Керенский произвел его в полковники – Шепетовским.

Так мстил отвергнутый любовник.

Вчерашний монархист из соображений карьерного свойства теперь, в силу тех же самых соображений, делал революционно-демократическую карьеру, для чего не без сожаления расстался со своим буржуазным моноколом.

Лара подлую выходку Шепетовскому не то что простила, а постаралась забыть о ней, как забыла о самом Шепетовском и опять-таки потому, что все бывшее вне ее чувства к Тугарину казалось таким ничтожным и мелким. Она думала о нем постоянно... Сначала, до революции, думала, что его могут убить на фронте, а позже опасение увеличилось, так как опасность удвоилась и вместо одного фронта было два. Один, как и был – внешний, другой – и он чудился еще страшнее – внутренний. Тугарин так невыдержан и горяч, он так не считается и не желает считаться со всем происшедшим, рискуя на каждом шагу, и Лара вспомнила виденное из окна, как солдаты и хулиганы срывали погоны офицерам. Ни, своих погон, ни своей сабли Тугарин живым не отдаст, и мало ли что может случиться?

Никогда еще петербургская весна не была так загажена людьми. Но эта весна казалась Ларе такой прекрасной именно (потому, что в душе Лары уже больше года благоухала весна. И, стараясь не замечать людей, она впитывала в себя очарование ясных, еще холодных, но прозрачных дней. И что-то притягивающее было в сырой жести Таврического сада, в его голых деревьях, в запахе увядших прошлогодних листьев.

И если бы не тревога за любимого человека, и если бы еще не действительность, от которой никуда не уйти, как безмятежно и хорошо было бы на сердце.

Тревоги Лары успокаивал Юрочка, на день, на два, раз в месяц укрывавшийся в Петроград к своим. Он всегда находил часок-другой, чтобы заглянуть к Ларе. И к ней он был весьма расположен да и, кроме того, обожал Тугарина. Доставляло удовольствие, выражаясь по-военному, «нести службу связи» между Тугариным и Ларой.

Да, он успокаивал ее, успокаивал слепой верой в свою Дикую дивизию:

– Вы себе представить не можете, как нас

боятся все эти армейские! Своих офицеров они в грош не ставят, вчуже больно, а наша черкеска и папаха производят на них магическое действие! Не было случая, чтобы «туземный» офицер один-одинешенек был бы задет или оскорблен толпой солдат, даже самой разнузданной, утратившей всякое понятие, о дисциплине.

– Юрочка, вы мой бром, но все-таки, все-таки... Послушать вас, так все хорошо, даже верить не хочется. Но вы же сами говорили, что у вас есть пулеметная команда из матросов.

– Есть, и, конечно, эта команда сочувствует не нам, а революции, но она – тише воды ниже травы, пикнуть не смеют. Кроме них, вот еще писаря, но и писаря поджали хвост. Ах, «от был номер. Помните фельдшера Карикозова? Он обедал в вашем обществе в «Континентале»?

– Как не помнить: Тугарин так жестоко прогнал его!

– На днях он поступил с ним еще более жестоко. Прибегает всадник-ингуш. Трясется от бешенства. В штаб полка явился с красным бантом Карикозов и давай пропагандировать

писарей: теперь, мол, свобода и все прочее. Вы знаете Тугарина?.. Вспыхнул, взял с собой ингуша, по дороге прихватил еще одного и – в штаб. Действительно, Карикозов держал речь к писарям. Увидел Тугарина, побледнел да так и застыл с открытым ртом. Тугарин одному ингушу: «Сорви красный бант с этого мерзавца». Другому: «Ну-ка, возьми его в плеть «по-туземному». Финал плачевный – фельдшер весь в крови вынесен был из штаба, и уж другой фельдшер оказывал ему медицинскую помощь. Молодец Тугарин! Я не знаю, кто еще, разве вот Баранов, мог бы так энергично расправиться!

– Да, но как бы из-за этого молодечества не пришлось бы в конце концов поплатиться...

– Пустяки. Я верю в его звезду. Сильным и смелым везде удача. Кстати, Карикозов после этого урока исчез. Сквозь землю провалился.

В следующий свой приезд, уже летом, Юрочка был. озабоченный и таинственный.

– Развал по всему фронту. Бегут, не хотят удерживать позиций, бесчинствуют в тылу. Нас, «туземцев», бросают из Галиции в Румынию, из Румынии в Галицию. Мы какая-то

«каре́та скорой помощи»! Наступаем, затыкаем прорывы, усмиряем солдатские грабежи и погромы...

Чем же это кончится?

– Кончится катастрофой, если... Но, слава Богу, замечается какой-то просвет. Назначенный вместо Брусилова верховным главнокомандующим генерал Корнилов может спасти положение. Он требует введения смертной казни в тылу и на фронте, а также восстановления расшатанной дисциплины. Конечно, и Временное правительство, и совет рабочих депутатов всячески будут препятствовать ему. Им нужен развал, они боятся поднятия престижа офицеров и генералов. Тогда им смерть, а им этого совсем не хочется, хочется быть у власти, хотя бы даже призрачной. Керенский с наслаждением сменил бы Корнилова, но теперь уже коротки руки. За Корниловым казачество, офицерский корпус, ударные батальоны и, конечно, мы! Ах, я вам нарисую картину, как генерал Корнилов приезжает из ставки в Зимний дворец на заседание Временного правительства. Дело в том, что Керенский и министры-социалисты не прочь в

один из таких приездов арестовать Корнилова и назначить в ставку другого генерала, который был бы более сговорчивым или, пожалуй, вернее, сам Керенский метит «в главково-верхи...

– Полно, Юрочка, балаганить!..

– Нисколько! Этот самовлюбленный гороховый шут уже и теперь мнит себя Наполеоном и гримируется под него. Правда, вместо серого походного сюртука у него демократическая кофта какая-то, но за борт этой самой кофты он закладывает руки вполне наполеоновским жестом. Большевики? Он их боится, попустительствует им, как крысам одного и того же подполья. В один прекрасный день скажут: «Пошел вон!» этому адвокату-Наполеону, и вместо Керенского в кровати императора Александра III в Зимнем дворце будет спать Ленин или Троцкий... Так, вот, чтобы предупредить это... Но теперь я вам опишу совещание верховного с Временным правительством. Положительно что-то персидское или мексиканское. Да и в самом деле, может ли Корнилов доверять кабинету министров, где заседают неврастеники-кокаинисты, одержжи-

мые манией величия, наполеоны в демократических кофтах и где имеются еще махровый негодяй Некрасов, немецкий агент Чернов и террорист-бандит Савинков? В эту темную компанию волей-неволей попадает честный солдат, желающий спасти Россию и с достоинством закончить войну, для чего необходимо в первую очередь свернуть шею большевикам. Такого беспокойного генерала могут арестовать и сместить, как я уже сказал, либо сделать еще кое-что похуже. В лабиринтах Зимнего дворца так легко исчезнуть, да еще при благосклонном участии такого профессионального убийцы, как военный министр Савинков.

– Юрочка, вы там у себя на фронте глотаете, французские романы...

– Наша безумная действительность затмит любой авантюрный роман. Необходимо вам сказать, да я и говорил это, кажется, раньше, что кроме нашей дивизии, есть еще одна мусульманская часть. Раньше называлась Туркменским дивизионом, а теперь это конный Текинский полк. Бронзовые люди из среднеазиатских степей, рослые и видные, куда

крупнее наших «туземцев», и все на чудесных жеребцах, серых в яблоках. В бою это одно великолепие! Гиканье всадников, ржание разгоряченных лошадей и беспощадная рубка. Недобитых всадником врагов загрызает жеребец...

– Юрочка, не фантазируйте!

– Честное слово, не фантазирую! – обиделся Юрочка. – Корнилов, служивший в Туркестане и знающий все местные наречия, взял туркменов к себе в ставку и сделал их как бы своим личным конвоем. Преданы они ему безгранично! Готовы жизнь за него отдать!.. Вот уж действительно «да последней капли крови». Едучи на совещание в Петроград, он берет с собой две сотни туркменов с пулеметами и десять верных ему офицеров. Одна сотня рассыпается на площади перед Зимним дворцом, другая занимает все ходы и выходы в той части дворца, где происходит совещание. А рядом с залом совета – вооруженные до зубов офицеры. При таких условиях извольте арестовать главнокомандующего, когда он сам в любой момент может арестовать все правительство...

– И вправду, что-то мексиканское! – молвила Лара. – Но ведь это же все ненормально, чудовищно ненормально...

– А разве все кругом нормально? Разве вся Россия не сплошной дом умалишенных? В таком порядке, под такой же охраной покидает Корнилов совет министров и возвращается к себе в ставку.

– Но так долго продолжаться не может...

– Конечно, не может... – и хотя Лара и Юрочка были только вдвоем и во всей квартире больше никого не было, Юрочка осмотрелся и понизил голос: – Поэтому-то и надвигаются события чрезвычайной важности. Уже назначено Московское совещание. Ничего из этого совещания не выйдет, будут говорить справа и слева, но не поймут, не захотят понимать друг друга... Патриотизм военных кругов встретится с демагогией болтунов и политических мошенников. Единственный выход – переворот. И он уже намечен Корниловым. По слухам, даже Керенский тяготеет к тирании большевистского совета и не прочь войти в соглашение с Корниловым. Но, во-первых, этому господину нельзя доверять, а

во-вторых, не планы этой комической фигуры важны, а важно то, что в сентябре нас, «туземцев», могут бросить в Петроград для наведения порядка и для надлежащей расправы с кем следует...

– Давно бы пора! – воскликнула Лара. – Как это было бы хорошо! Вы думаете, удастся?

– Кто может оказать нам сопротивление? Кто? Эти разложившиеся банды трусов, не бывавших в огне, не умеющих владеть оружием и опасных лишь мирному обывателю? Только бы нам дойти, физически дойти до Петрограда, а уж успех вне всяких сомнений! Если только первые наши разъезды ворвутся в предместье столицы, встанут все военные училища, встанет все лучшее, все то, что жаждет только сигнала к освобождению от шайки международных преступников, засевших в Смольном, как ждем все мы этого часа возмездия!

Лара молвила мечтательно, с какой-то блуждающей улыбкой:

– Итак, почем знать, быть может, вашей дивизии суждено сыграть историческую роль в деле освобождения России?..

На вершине «власти»

Совет рабочих и солдатских депутатов, державший в своих руках судьбу России и до поры до времени только терпевший немощное Временное правительство, являл собою весьма пестрый зверинец. Главную роль, конечно, играла в нем интеллигенция, замаскированная «под рабочих и под солдат». Настоящие же рабочие и солдаты, допущенные из политических соображений, были на положении серой скотинки. Нужны были их голоса. Эти голоса серая скотинка слепо и покорно отдавала тем, кто ею руководил.

Руководили сплошь германские и австрийские агенты. Было несколько офицеров генерального штаба из Берлина и Вены. Надев солдатские шинели и забронировавшись псевдонимами, эти лейтенанты и майоры делали все зависящее от них и возможное, чтобы в самый кратчайший срок развалить еще кое-как державшиеся остатки и обломки русской армии и русского флота. Им помогали в этом большевики.

Помогали австро-германцы, очутившиеся

в русском плену и после революции попавшие из сибирских концентрационных лагерей в совет рабочих и солдатских депутатов. Одного из этих военнопленных – Отто Бауэра, австрийского социалиста – провел в совет его друг Виктор Чернов, министр земледелия Временного правительства.

Чернов осуществлял аграрную реформу с гениальной прямолинейностью. Он говорил крестьянам:

– Выжигайте помещичьи усадьбы! Выжигайте дотла эти галочки гнезда, чтобы ваши кровопийцы больше никогда не вернулись!

Чернов в товарищеском порядке сообщал Отто Бауэру все тайны Временного правительства, а Бауэр сообщал эти сведения через своих курьеров венскому правительству.

Это было известно, и на совещаниях в Зимнем дворце военный министр Савинков предупреждал запиской генерала Корнилова, чтобы тот держал про себя свои планы как наступления, так и обороны, ибо это может стать известным неприятелю. Савинков не любил Чернова. Чернов не любил Савинкова. Эта взаимная антипатия родилась еще давно,

в дни царизма, во время совместной подпольной работы.

Да и в рядах совета рабочих депутатов Савинков имел немало врагов и совсем не имел друзей.

Особенно ненавидел его Троцкий. У них были старые, тоже эмигрантские счеты.

По слухам, когда-то в Париже Савинков отбил у Троцкого женщину и, мало этого, еще публично дал ему по физиономии. Ничего невероятного в обоих случаях не было.

Троцкий тогда еще не был «демоничен», а был только смешон в своем подчеркнутом безобразии. Савинков же с его львиным профилем и бледным, холодным лицом был овеян славой бесстрашного убийцы, террориста, и от его фигуры веяло жуткой недоброй силой. Троцкий трусливо, из-за угла посылал других метать бомбы в министров и великих князей. Савинков же лично бросал бомбы в «прислужников ненавистного царизма». И вот эти два революционера очутились у власти. Троцкий заседал в Смольном институте, Савинков – в Зимнем дворце. Оглядываясь назад, Троцкий вспоминал пощечину, а загля-

дывая вперед, видел, что Савинков, этот единственный волевой человек во Временном правительстве, если удержится военным министром, будет для большевиков опасным и нежелательным противником. А с большевиками ему не по дороге. Во-первых, он ни с кем не пожелает делить власть, а во-вторых, он не пораженец и по-своему любит Россию... В революционности своей мечтатель-романтик, он никогда не был платным агентом чужеземной политической полиции.

Кто-нибудь из них должен свернуть голову другому. Весь вопрос – кто кому.

Савинков поддерживал Корнилова. Поддерживал выдвинутое верховным главнокомандующим требование смертной казни, карающей дезертирство и неповиновение военному начальству.

Совет рабочих депутатов забил тревогу, боясь, что Корнилов и Савинков восстановят в армии боеспособность и порядок.

Керенский, со свойственным ему истерическим пафосом, восклицал, что как до сих пор его рукой не подписано ни одного смертного приговора, так и впредь не будет подпи-

сано.

Это говорилось для популярности, говорилось в толпу, на митингах, с театральных подмостков и с арены цирка.

Но за кулисами, особенно после доброй порции кокаина, Керенский готов был пойти за Савинковым. Этот бледный, с решительным видом, с холеными руками человек, одинаково владевший как браунингом, так и ножом, был гранитно-монументален рядом с набитой паклей и ватой мягкой куклой. И гранит подавлял паклю.

Гранит внушал кукле:

– Если мы не раздавим товарищей из Смольного, товарищи из Смольного раздавят нас! Июльские дни – первое предостережение. Вы, Александр Федорович, на свою голову дважды спасли Троцкого. Когда преображенцы хотели его расстрелять и когда вы поспешили к нему на квартиру, воспротивившись его аресту...

Керенский, мигая дряблыми, набухшими веками, не мог ничего ответить. В самом деле, что можно было ответить?

Да, действительно, он дважды спас Троцко-

го. И не потому, что Троцкий был симпатичен ему или же политически приемлем, а потому, что Троцкий в глазах его был крупным революционным волкодавом, а он, Керенский, рядом с этим волкодавом чувствовал себя такой маленькой, беззащитной дворняжкой...

В революционных кругах деление на касты и чинопочитание куда сильнее развито, чем в любом монархическом государстве. Человек с львиным профилем посвятил Керенского в свой план:

– Большевики опираются на матросов. Мы же, Временное правительство, не опираемся ни на кого и ни на что. Мы висим в воздухе. Нам необходимо опереться на армию или, вернее, на ее части, не потерявшие дисциплины и не превратившиеся в орды шкурников и дезертиров.

– Другими словами, еще сохранивших повиновение генералам? – с тревогой вырвалось у Керенского. Он не так опасался большевиков как генералов.

Собеседник поспешил успокоить его.

– Есть генералы и генералы. Лично я, например, вполне доверяю Корнилову. Он рес-

публиканец, не честолюбив и не метит в диктаторы, несомненный патриот и несомненный демократ как по убеждениям, так и по крови. Чего же еще? Это желанный для нас союзник. За этим союзником реальная сила: именно те остатки еще сохранившейся армии, о которых я только что говорил.

И Савинков развивал дальше свой план, и Керенский начал склоняться...

А потом Керенский весь разговор этот передал министру путей сообщения Некрасову, самодовольному упитанному господину, на днях женившемуся на буржуазной девице, которой очень хотелось быть супругой министра, хотя бы и революционного. Обряд происходил в церкви Зимнего дворца, и шафера держали над головами новобрачных усыпанные драгоценными камнями венцы, принадлежавшие свергнутой династии.

Подумав, Некрасов ответил:

– Александр Федорович, вы знаете Савинкова? Знаете его непомерное честолюбие? В случае успеха он обойдет всех нас, обойдет и Корнилова, на спине которого мечтает выехать к власти. Ясно, что Савинков желает

выскочить в диктаторы. А тогда, первым делом, он всех нас пошлет к черту!

В голове Некрасова это «пошлет к черту» преломлялось так: «Прощай благополучие, прощай тонкие обеды и ужины в Зимнем дворце, прощай все, связанное с властью, хотя и эфемерной. И это на лучший конец. А на худший – Савинков не задумается».... – И Некрасов вслух пояснил свою мысль:

– Савинков не остановится перед тем, чтобы заодно с большевиками перевешать и всех нас.

Теперь уже Керенский в свою очередь подумал: «Тогда прощай вина из царского погребца, прощай императорский поезд, беседы по прямому проводу, выступления на митингах с поклонницами-истеричками...».

И погасший, подчинившийся воле Некрасова, он беспомощно спросил:

– Так как же быть? Отставить все?

– Нет, зачем же отставить! – с хитрой улыбкой на раскормленной физиономии возразил министр путей сообщения. – Не надо! Внешне идите навстречу Савинкову и Корнилову, Да же, по-моему, следует, чтобы они выступили!

А вот когда они выступит, забейте тревогу, объявите их изменниками делу революции, врагами народа. И тогда они оба полетят. Мы их перехитрим. Они думали свернуть нам шею, а выйдет наоборот! И надо спешить, пока не поздно. Не по дням, а по часам растет популярность Корнилова. Ну разве вы не согласны со мной?

– Да, но... но большевики?

– Что большевики? С ними как-нибудь... обойдется. Верьте мне: опасность справа гораздо страшнее, чем слева. Здесь нужна тонкая политика. Мне надоел Савинков и надоел этот генерал, как башибузук, приезжающий на заседания совета министров со своими текинцами и пулеметами. Они хотят спровоцировать нас, а мы спровоцируем их!

В тот же день Савинков спросил Керенского:

– Ваше окончательное решение, Александр Федорович? Завтра выезжаю в Могилев, в ставку, и буду совещаюсь с Корниловым. Могу я с ним говорить и от вашего имени? И если да, могу я сказать следующее: Александр Федорович уполномочивает вас двинуть на

Петроград кавалерийский корпус с целью разгона совета рабочих депутатов, дабы «освободить Временное правительство от его тирании»? Вы подписываетесь под этим?

– Вполне!

– Теперь дальше. В случае успеха, о неуспехе не может быть и речи, мы создаем диктатуру. Это будет триумвират: вы, я и Корнилов. Вся полнота власти будет в наших с вами руках, а генерал Корнилов останется верховным главнокомандующим, останется хозяином фронта и военным специалистом. Да и он сам вполне удовлетворится этой ролью. Как я уже сказал, он не честолюбив и в бонапарты нисколько не метит. Итак, в принципе все решено. От слов перейдем к действию.

– Перейдем, – как-то вяло отозвался Керенский.

Эта вялость нисколько не удивила Савинкова. Он знал, что минуты подъема и возбуждения, взвинченные кокаином, сменяются у Керенского часами полнейшей апатии, подавленности и ко всему и ко всем безразличием.

Бомбист-аристократ приезжает в ставку

Савинков был бомбист-аристократ.

Обыкновенно русские революционеры, чтобы подойти «ближе к народу», одевались неряшливо, не стригли волос, не носили крахмального белья и не особенно чисто мылись.

Савинков же всегда одет был с иголки, тщательно вымытый, до, глянца выбритый и надушенный аткинсоновским «Шипром». Вообще он любил комфорт, любил дорогие рестораны, любил нарядных женщин, ароматные гаванские сигары.

С тех пор, как начался в России политический террор, никогда еще и ничьи такие же, как У Савинкова, белые холеные руки не бросали бомб в великих князей и сановников. Вагон Савинкова, вагон военного министра, был прицеплен к курьерскому поезду. Этот поезд шел на Киев, и на полпути, в Могилеве, савинковский вагон будет отцеплен. Военный министр проведет в Могилеве несколько часов, а может быть, и целые сутки.

Обычный вагон-салон, в котором ездили царские министры. Савинков вез с собой адъютанта и конвой из четырех юнкеров. Назначение конвоя – оберегать министерский вагон от вторжения солдат, праздных, не знающих, куда себя девать от безделья. Ими забыты все станции.

И как только поезд останавливался, юнкера в опрятной и ловко пригнанной форме, при винтовках и шашках, занимали оба выхода, принимая на себя натиск; буйной разнузданной солдатни.

– Нельзя сюда!

– Отчего нельзя?

– Вагон военного министра.

– Таперь слобода!

Но этим и ограничивались «самые свободные» солдаты. Решительный вид юнкеров отбивал охоту и к дальнейшим пререканиям, и к желанию залезть в сияющий, новенький, – не захватанный и не загаженный, как все остальные, вагон.

Савинков, сидя у окна, дымя сигарой и не показываясь, а украдкой глядя в щель занавески, наблюдал эти сцены.

«Неужели я затем годами скрывался в подполье, – проносила у него мысль, – затем балансировал между тюрьмой и виселицей, затем рвал в клочки своими бомбами царских министров и генерал-губернаторов, чтобы эта сволочь, потерявшая облик человеческий, бросая фронт, была грозой мирных жителей?».

Он не мог да и не хотел сознаться, что балансировал между тюрьмой и виселицей – и метал бомбы не ради этих людей, а именно ради власти, чтобы ездить в таких вагонах-салонах со своим адъютантом и со своим конвоем.

Чем ближе к ставке верховного главнокомандующего, тем больше порядка замечалось на станциях и тем меньше было бродячих солдат. Корнилов подтянул не только ставку, но и прилегающий к ней район.

В самом же Могилеве царил образцовый порядок. Местный совдеп хотя и существовал, но с тех пор, как в ставку приехал Корнилов со своими текинцами, притих и держался с оглядкой да с опаской. Вид бронзовых текинцев в белых высоких папахах, загадочных во-

инственных людей Востока, внушал ужас рабочим и солдатским депутатам, еще недавно, при Брусилове, бывшим здесь не только господа ми положения, но и терроризировавшим ставку, этот мозг и центр необъятных фронтов, европейского и азиатского.

Ставка помещалась в двухэтажном губернаторском доме помещичьего типа. После того, как в нем около двух лет прожил государь и покинул его уже отрекшимся императором, дом стал историческим. При царе около дома стояли парные часовые Георгиевского батальона. После царя этот отборный батальон разложился. Выходя из ставки, Брусилов здоровался с парными часовыми за руку, этим подчеркивая свою демократичность. При Корнилове парными часовыми были бесменно текинцы.

Рослые, монументальные и в то же время стройные, легкие, гибкие, стояли они, как изваяния, и только особенное что-то, притаившееся в темных восточных глазах, говорило, что это живые люди. Каждого, кто подходил или подъезжал к ставке, текинцы ощупывали взглядом, казалось, до самой глубины ду-

ши, словно пытаюсь проникнуть, не замыслил ли человек этот худого чего-нибудь против их бояра. Корнилова они называли «бояром».

Это не были казенные часовые, выстаивающие положенный срок. Это были верные слуги, чуткие стражи и телохранители своего бояра. И этой верной, не знающей границ привязанностью одухотворяли они свой посту вход в ставку.

Савинков, подкативший на автомобиле к губернаторскому дому, с первого взгляда оценил как этих великолепных джигитов с кривыми клычами (шашками), так и преданность их Корнилову, о чем уже был слышан.

По одному мановению своего бояра они готовы не только кого угодно убить, но свою собственную жизнь без колебания отдать за него. И тут же подумал революционный военный министр, что в России не наберется и нескольких человек, способных ради него, Савинкова, или ради Керенского на такое же слепое самопожертвование. И в этом сила Корнилова, и надо ее использовать, но осто-

рожно, умеючи... Хотя Савинков и сейчас думал то же, что днем раньше сказал Керенскому в Зимнем дворце: Корнилов не честолюбив, власти не жаждет, в диктаторы не метит, и с ним можно пойти рука об руку.

Через несколько минут они сидели в кабинете с глазу, на глаз, друг против друга.

Судьба свела лицом к лицу, и не только к лицу, но и как сообщников, двух людей твердых, решительных, с несокрушимой волей. Но каждый из них по-разному направил и свою твердость, и свою волю. Оба не раз рисковали головой. Но Савинков рисковал ею во имя разрушения, разрушения великой России. Корнилов еще в небольших чинах помогал эту великую Россию выковывать и творить.

Это было давно. Нынешний главковерх был тогда капитаном генерального штаба и служил среди этих самых мусульманских бойцов, которые живописными изваяниями в белоснежных папах гордо стояли внизу.

В то время англичане обратили чрезвычайное внимание свое на Афганистан – не дававший им покоя путь русских в Индию.

Деньгами и агитацией фанатизировали они афганцев против соседей, а вдоль русской границы возводили форты и даже целые крепости. Об этом знали у нас, но не знали ничего определенного. Тщетно пытался генеральный штаб проникнуть в тайну англо-афганских сооружений и военных мероприятий.

Посылали разведчиков из «туземцев». Одни возвращались, не умея ничего толком рассказать и объяснить, большинство же не возвращалось совсем. Схваченные и обвиненные в шпионаже, они были заживо сварены в гигантских котлах с кипящим маслом...

Капитан Корнилов добровольно взялся сделать глубокую и тщательную разведку.

Сын сибирского казака от матери калмычки, унаследовал он монгольскую внешность с шафранным цветом лица и узкими, косо прорезанными глазами. Он имел некоторую возможность не быть разоблаченным афганцами, по крайней мере тотчас же. Вдобавок еще он владел в совершенстве несколькими местными языками, до афганского включительно.

С собой взял он двух верных джигитов-туркменов. Все трое, одетые по-туземно-

му, в халатах и бараньих шапках, ночью перешли границу. У Корнилова под халатом был револьвер, маленький альбом и фотографический аппарат.

Шесть недель о них ни слуху, ни духу. В Ташкенте уже считали Корнилова погибшим, сваренным в котле с кипящим маслом. Но он вернулся и привел обоих джигитов. Его альбом весь испещрен был «кроки» возведенных английскими инженерами фортов, а десятки фотографий дополняли эти ценные «кроки».

Но подвиг Корнилова не был оценен в Петербурге. Хотя Корнилов и получил какой-то незначительный орден, однако вместе с этим ему объявлен был выговор «за самовольный переход афганской границы без надлежащего разрешения высших военных властей».

Но это не обескуражило маленького, худощавого капитана с загадочным лицом китайского божка – он рисковал своей жизнью не во имя наград, а во имя России.

И также для России исследовал он значительно позже с конвоем из нескольких казаков мертвые пустыни китайского Туркестана, куда до него не проникал ни один белый че-

ловек.

Корнилов настоял на Дикой дивизии

Савинков знал про это, знал и про легендарное бегство Корнилова из австрийского плена. Знал, что на этого человека можно смело рассчитывать. А как мало вообще людей, на которых можно рассчитывать! Савинкову, воспитанному в революционном подполье, с его предательством и ложью, это было особенно знакомо. Как и все хитрые, скрытные люди, Савинков начал с наименее интересного ему, а самое интересное приберегал напоследок.

Закурив сигару и поглядев на свои розовые, отшлифованные ногти, он спросил:

– Лавр Георгиевич, каково положение на фронте? Что говорят последние сводки?

– Никогда еще ни одна армия не была в таком, постыдном положении, – ответил главнокомандующий, – постыдном и, вообще, я бы сказал, это что-то дико чудовищное! Армия перестала существовать как боевая сила не от натиска, не от поражения, а от агитации... Рига мо-

жет пасть со дня на день.

– Как? – удивился бы, если бы мог удивляться этот холодный, выдержанный человек. – Там жиденьякая цепочка немцев, наша же Двенадцатая армия самая многочисленная изо всех.

– Да, мы кормим 600000 ртов на Рижском фронте, – согласился Корнилов, – в окопах же наших еще более жиденьякая цепочка, чем у немцев. Неудивительно, если в этих же самых окопах агент-прапорщик Сивере издает для солдат коммунистическую газету.

– А почему вы не прикажете его арестовать?

– Я приказал большее – повесить его, но он пронюхал об этом и скрылся...

– А на австрийском фронте?

– На австрийском начинается выздоровление. Особенно после расстрелов. Солдатские орды превратятся вновь в армию, но при одном условии: при уничтожении совета рабочих депутатов. Пока там у вас, в Петрограде, имеется этот гнойник, мы бессильны, и не только Ригу, но и коротким ударом немцы могут взять Петроград.

В последнее сам Корнилов не особенно верил, и сам не особенно допускал, но ему нужен был моральный эффект, и он достиг своего. Бледное, как бы застывшее навсегда, малоподвижное лицо Савинкова отразило какое-то подобие волнения.

– Падение Петрограда? Столицы? Это был бы неслыханный скандал и позор! Что сказали бы наши союзники? Нет, нет, этого не может быть, – и холодные светлые глаза Савинкова встретились с узенькими монгольскими глазками Корнилова.

Корнилов пожал плечами.

– В Петрограде сто двадцать тысяч облепившихся, развращенных шкурников в военной форме и ни одного солдата! Кто мог бы оказать сопротивление немцам? Юнкера? Но грешно и преступно посылать на убой лучшую военную молодежь, эти наши кадры нашего будущего, с тем, чтобы растленная, облепившаяся сволочь продолжала тунеядствовать и грабить...

– Да, это более чем страшно... – задумался военный министр. – Тогда... тогда отчего бы вам, Лавр Георгиевич, не усилить петроград-

ский гарнизон какими-нибудь свежими, бое-
способными частями?

– Это единственный выход, – ответил Кор-
нилов.

И оба помолчали, глядя друг на друга. И те-
перь только Савинков понял, что Корнилов
сознательно преувеличивает опасность и что
усилить петроградский гарнизон желает не
столько против немцев, сколько для распра-
вы с советами...

И хотя в этом же самом кабинете, на туже
самую тему, эти же самые собеседники уже
поднимали разговор, но чувствовалось, что
Корнилов потому ходит вокруг да около, что
не доверяет Савинкову. Для него Савинков хо-
тя и не Керенский, конечно, хотя и стоящий
за дисциплину, в войсках, но все же револю-
ционер, существо мало понятное и чуждое.

Савинков решил разбить лед сомнений. А
это он умел при желании. Голос его зазвучал
подкупающей теплотой:

– Лавр Георгиевич, я, как говорят францу-
зы, человек «трудный». Я вообще мало кого
уважал в своей жизни, но вам я отдаю долж-
ное. Вы большой солдат и большой патри-

от... Вы научили меня думать о генералах несколько иначе, чем я думал до сих пор. Давайте же друг другу аннибалову клятву действовать вместе плечом к плечу во имя России! Сбросим маски, сбросим иносказательность. Наши мысли сводятся к одной точке – Смольный! Вашу руку!

И через письменный стол потянулись и соединились в пожатии крупная, холеная, узкая рука военного министра к маленькая смуглая рука главковерха.

Савинков прибавил:

– Александр Федорович с нами. Я убедил его, убедил, наконец, что невыносимо глупо и унижительно положение Временного правительства рядом с совдепом, этим филиальным отделением германского штаба. И от имени его, Александра Федоровича, я приехал к вам и его именем говорю: давайте общими силами раздавим гадину! Как это вам рисуется технически? Уцелели еще от разложения части, на которые вы могли бы положиться безусловно?

Соображая, Корнилов сузил свои и без того узкие глаза.

– Что же, я могу поручиться за несколько ударных моего имени батальонов. Но, во-первых, они необходимы на фронте. Как организованная физическая и моральная сила они исполняют обязанности заградительных отрядов. А затем, ведь ударные батальоны – пехота, в таких же стремительных захватах городов, неукрепленных и незащищенных, необходима конница. Да она и больше бьет по воображению... обывательскому воображению, – добавил верховный.

– Это верно, – согласился военный министр, – в декоративном отношении один всадник эффектнее десяти пехотинцев. Но какие же именно кавалерийские части вы имеете в виду? Гвардию?

Корнилов отрицательно покачал головой.

– К моему глубокому изумлению гвардейская конница так разложилась, как и ожидать нельзя было! Помните, вы приезжали ко мне в Бердичев, я командовал юго-западным фронтом, а вы были нашим комиссаром? Помните, на вокзале караул из кавалергардов? Разве можно было узнать в этих всклокоченных, невымытых, заросших волосами, в рас-

стегнутых гимнастерках людях недавних подтянутых красавцев, по выправке и по внешности не знавших во всем мире никого и ничего равного себе? Из всей гвардейской конницы дисциплинированы еще кирасиры... его величества, – машинально, по старой привычке, сказал Корнилов и поправился: – Желтые кирасиры, и только благодаря доблестному командиру своему князю Бековичу-Черкасскому. Вся же остальная гвардейская конница никуда и ни за кем не пойдет. Да то же самое и из армейской я не вижу возможности набрать надлежащий верный кулак. Вся надежда на Дикую дивизию.

– Это немыслимо, – запротестовал Савинков.

– Почему?

– Недопустимо, чтобы кавказские горцы освобождали Россию от большевиков. Что скажет русский народ?

– Спасибо скажет! Когда вы, Борис Викторович, за революционную работу свою сидели в тюрьме, не все ли равно было вам, кто открыл бы вашу камеру для побега – русский или татарин? Я думаю, все равно, лишь бы

унести свою голову. Так и здесь.

– Отчасти вы правы, но... – и после некоторой паузы Савинков произнес то, что было для него настоящим поводом для нежелания бросить на Петроград Дикую дивизию. – Видите ли, подавляющее большинство офицеров этой дивизии, все эти кавказские и русские князья, – элемент монархический, реакционный. Дорвавшись до Петрограда, они начнут вешать всех инакомыслящих...

– Если они перевешают совет рабочих депутатов, честь им и слава!

– Да, но войдя во вкус, они могут не ограничиться советом. Наверное, так и будет. Они за компанию вздернут и Временное правительство, а это повело бы к восстановлению монархии.

«А, ты боишься за собственную холеную шкуру!» – подумал Корнилов и продолжал вслух:

– Нет, почему же? На Временное правительство никто не посягнул бы. А за Дикую дивизию я прежде всего вот почему, мой приказ или должен быть выполнен, или его нельзя отдавать. В Дикой дивизии я уверен. Мой

приказ они выполняют. Она пойдет, дойдет и войдет.

Увидев, что Савинков все еще колеблется, а без него никакие решения не могут быть приняты, Корнилов постарался найти компромисс.

– Хотя я и не согласен с вами, но, дабы не было впечатления, что Россию спасают одни только горцы Северного Кавказа, я могу параллельно двинуть конный корпус... В относительном порядке находятся еще части генерала Крымова. Вы его знаете. Отличный боевой генерал. А его убеждения никак нельзя назвать крайне правыми.

– Генерал Крымов вне подозрений, – подтвердил Савинков, – лично я, однако, предпочел бы одного генерала Крымова без Дикой дивизии.

– Дикая дивизия своего рода страховка. А что, если корпус Крымова не дойдет? Я надеюсь на него, но полной веры у меня нет. Провал же всей этой карательной экспедиции грозит полным крушением и тыла, и фронта. Это была бы уже катастрофа.

– Пусть будет так! – скрепил Савинков. –

Когда вы считаете удобным выступить?

– В сентябре, после Московского совещания, которое, конечно, не приведет ни к чему и будет лишь одним лишним морем митинговой и полумитинговой болтовни...

Паника в разбойничьем притоне

Этот человек вел двойную жизнь в сумбурном, запакощенном, опаршивевшем, но все еще величавом Петрограде. Двойную жизнь: одну – под именем барона Сальватичи в светских гостиных, другую – под более демократическим именем товарища Сакса в Смольном, в совете рабочих депутатов.

Безукоризненно одевшись у Калина, с моноклем в глазу – это придавало ему еще более хищное выражение, – барон Сальватичи плел какую-то сложную интригу в аристократических кругах, напуганных и пришибленных революцией. «Надо перетерпеть. Действительность ужасная, будет еще ужаснее, – обещал он и тут же спешил успокоить: – Но не надолго. От Керенского нельзя сразу перейти к порядку и успокоению. Нельзя. Надо пустить к власти большевиков. На две недели,

на месяц самое большее, но это необходимо. А тогда их сметет новая сила, и в России вновь будет монархия».

Хотя барон Сальватичи не договаривал, но все понимали: эта новая сила – немцы! Он гипнотизировал собеседников и собеседниц своей внешностью, своей таинственностью, своим благовоспитанным апломбом и, пожалуй, самое главное, своим могуществом.

Матросская вольница или банда анархистов вселяется в чью-нибудь квартиру, непременно барскую, начинает ее грабить. Тщетно взывает хозяин, бывший сановник или генерал-адъютант, к судебным властям или даже к «самому Керенскому»... Но и судебные власти, и «сам» Керенский – беспомощны. Матросы и анархисты глумятся и над республиканским прокурором, и над Бонапартиком в бабьей кофте.

Но вот барон Сальватичи нажимает какие-то неведомые пружины, и наглые банды покорно уходят из «социализированных» квартир.

Вот почему в салонах слепо верили этому барону. Так и надо, так и должно быть: от Ке-

ренского переход к успокоению и порядку невозможен. Необходим промежуточный этап в лице большевиков. А потом придут стройные железные фаланги в касках с остроконечными шишаками, и появятся в изобилии на рынке и хлеб, и мясо, и можно будет выходить из дому, не рискуя быть ограбленным или убитым.

В Смольный приезжал товарищ Сакс уже не в костюме от Калина, а в английском френче, в широких бриджах и в желтых ботинках с матерчатыми обмотками защитного цвета. В совете рабочих депутатов товарищ Сакс был крупной фигурой. Даже нахальный, избалованный популярностью своей в преступных низах Троцкий и тот был как-то особенно почиттелен с товарищем Саксом и не задирал кверху клок своей бороденки, а опускал голову книзу, с собачьей угодливостью поблескивая глазами из-под стекол пенсне.

Смольный институт, выпустивший целые поколения чудных русских женщин, этот архитектурный шедевр великого Растрелли, теперь загрязненный, заплеванный, наводненный всяким сбродом, напоминал разбойни-

чий притон. Туда свозили арестованных буржуев, свозили большие запасы муки, вина, консервов я, вообще, всякого продовольствия.

Пыхтели грузовики, сновали взад и вперед; вооруженные до зубов солдаты, матросы и темные штатские. Это скопище немецких агентов, выпущенных из тюрем каторжников, военных, писателей, адвокатов и фельдшеров издавало. декреты, совершало чудовищные беззакония И допрашивало министров Временного правительства, заподозренных в недостаточной революционности. И министры отчитывались, как напроказившие школьники, боясь На лучший конец ареста, на худший – самосуда этих увешанных револьверами, пулеметными лентами и ручными гранатами дегенератов с бриллиантовыми перстнями на пальцах и с золотыми портсигарами с графскими и княжескими коронами.

И вот этот налаженный, самоуверенный разбойничий быт нарушен.

В панике заметался Смольный:

– Корнилов бросил на Петроград своих черкесов!

– Этот царский генерал желает утопить революцию в крови рабочих!

– Предатель Савинков заодно с Корниловым!

– Арестовать Савинкова!

С грохотом помчались набитые матросами грузовики. Но Савинкова нигде нельзя было найти. Он исчез.

– Подать Керенского сюда!

Серо-землистый, дрожащий примчался Керенский в Смольный на автомобиле императрицы Марии Федоровны. Троцкий, с поднятым кверху клоком бороденки, топал ногами, орал:

– Вы продались царским генералам! Вы ответите за это перед революционной совестью!

Керенский оправдывался, как мог. Его революционная совесть чиста. Он сам только что узнал об этом реставрационном походе на Петроград. Вернувшись в Зимний дворец, он выпустит воззвание ко «всем, всем, всем», где заклеит Корнилова изменником и предателем.

Пообещав прислать воззвание в Смольный

для корректуры, Бонапартик отправился сочинять свое «всем, всем, всем» в сотрудничестве с Некрасовым.

Кричали о защите Петрограда, этой красной цитадели, о сопротивлении до последних сил, до конца, но никто не верил ни в красную цитадель, ни в сопротивление.

Депутаты, воинственными возгласами своими потрясавшие монументальные своды Смольного, имели уже «на всякий случай» в кармане фальшивый паспорт, дабы, когда корниловские черкесы будут на подступах к красной цитадели, успеть прошмыгнуть через финляндскую границу.

О, если бы можно было взглядом убивать! Депутаты, удирая, на прощанье убили бы сотни тысяч ненавистных буржуев, с нетерпением ожидающих «банды корниловских дикарей», чтобы забросать их цветами.

И у депутата Карикозова лежал в кармане чужой паспорт на чужое имя, но эта карикатурная фигура в черкеске с большим кинжалом и с большим красным бантом проявляла необузданный темперамент и горячилась больше всех:

– Я их знаю, «туземцы»! А кто их знает – не боится! Дикая дивизия? Я сам Дикая дивизия! Я три Георгиевский крест имел, только я бросал этот игрушка от кровавого Николай. Я буду резить, ва, я буду резить всех! Ингуши, чеченцы, кабардинцы, татары, дагестанцы, черкесы! Все буду резить, – с искаженным лицом иступленно выкрикивал экс-фельдшер Дикой дивизии и в виде финала вытаскивал огромный кинжал свой, слюнил палец и проводил им по лезвию клинка, закатывая глаза и рыча, и скрежеща зубами.

Даже обступившим его матросам, с еще не высохшей на них кровью замученных ими морских офицеров, даже этим холодным убийцам становилось жутко:

– Вот парнишка! Хват! Ну и зверь же! Этот покажет корниловцам! Даром что плюгавый!

Пожалуй, один товарищ Сакс ничего не выкрикивал, ничего не обещал, ничем не похвалялся. А между тем, когда все депутаты заняты были одним – спасением своей депутатской шкуры, – товарищ Сакс чувствовал себя на краю зияющей политической бездны.

Если корниловское наступление увенчает-

ся успехом, оно оздоровит армию, и тогда дружным натиском с востока и запада союзники раздавят австро-германцев.

Едва ли не впервые спокойный, выдержанный барон Сальватичи потерял голову. Ему приходилось подбадривать себя кокаином. Он понимал, что вооруженной силой не остановить «туземный» корпус. Нет ее, этой вооруженной силы. Есть растлившийся гарнизон, не желающий ни с кем воевать, ни с белыми, ни с красными. Ни с кем! Тысяча-другая озверелых матросов? Но кому вести их в бой? Да и не знают они сухопутного боя, эти опьяненные собственным величием, буржуазной кровью и награбленными бриллиантами декольтированные, завитые, напудренные и напомаженные гориллы...

Решается судьба двух империй. Эту судьбу несут с собой две-три тысячи всадников на азиатских седлах и с азиатскими методами войны.

В момент этих поистине трагических размышлений в комнату 72, занимаемую бароном Сальватичи в Смольном, вошел, не постучавшись, Карикозов.

– Как вы смели? Убирайтесь к черту!

– погоди, послушай. Тебе лицо горит и мне горит...

– Что за чепуха! Не до вас мне! Убирайтесь!

– Имей терпение, – продолжал, не двигаясь, Карикозов. – Тугарин помнишь? Нагайка тебе ударил! Отомстить хочешь? Тугарин любовница, – гражданка Алаев, арестовать надо. Из Петроград увезти. Тугарин с дивизиям придет, нет душенька его. И я припомню, как меня ингуши нагайкам бил по его приказ. Давай ордер, что ли, пока есть время. Чего думать, давай! Тебе легче будет, мне легче. Обои нам легко будет!

Товарищ Сакс подписал ордер на предмет ареста «гражданки Алаевой за соучастие с Корниловым и за тайную связь с его агентами».

Экс-фельдшер, взяв с собой пять вооруженных матросов, помчался к Таврическому саду на мощной великокняжеской машине.

В чьи руки попала Дикая дивизия

Между знаменательным посещением ставки военным министром Савинковым в начале августа и движением на Петроград «туземной» кавказской дивизии успело состояться так называемое «Московское, совещание».

Это была попытка объединить правые и левые течения русской общественности, попытка найти один язык в борьбе с внешним врагом в лице австро-германцев и внутренним, еще более угрожающим и опасным, «в лице большевиков».

Съехались на это совещание министры Временного правительства во главе с Керенским, члены Государственной думы во главе с Родзянко, представители офицерского корпуса во главе с генералами Алексеевым, Корниловым и Калединым и, наконец, делегаты Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов – трудно даже сказать во главе с кем, так как «головка» благоразумно уклонилась от присутствия на совещании, боясь быть арестованной. Был слух, что к этим мос-

ковским дням приурочен «генеральский переворот».

Действительно, это был весьма удобный момент для переворота и захвата власти теми, кто желал бы и мог бы, физически мог бы, остановить Россию на краю бездны.

Надеждой на переворот была насыщена вся Москва. Тысячи офицеров, патриотически настроенная молодежь военных училищ, ударные батальоны, казаки – все в этот момент только и ждали сигнала. Москва была готова взорваться пороховым погребом. Осталось лишь поднести зажженный факел.

Имя факелу этому было «Корнилов». Как национального вождя, как полубога встретила его Москва, когда, приехав из ставки, он показался на улице со своим конвоем из верных текинцев. Его забросали цветами. Юнкера исступленно кричали «ура». Одно его слово, одно лаконичное приказание, и преступно-революционная власть была бы сметена, и советские депутаты сидели бы в тюрьме в ожидании военно-полевого суда, а не сидели бы, развалясь, в ложах Большого театра, откуда с хамской наглостью перебивали речи и

самого Корнилова, и остальных генералов. Увы! Корнилов, этот доблестный, отважный солдат и вождь, не был рожден диктатором, иначе он, шутя, овладел бы Москвой, и тогда панический красный Петроград не пришлось бы даже и брать – он сам упал бы к ногам диктатора.

И потому, что Корнилов не сумел использовать московского момента, поход на Петроград осуществил он совсем не так, как сделал бы это диктатор «божьей милостью».

Овладение революционной столицей требовало двух вещей – личного риска и личного авантюризма.

Чрезмерная добросовестность внушала Корнилову:

– Ввиду операций на внешнем фронте я не могу покинуть ставки.

А именно следовало покинуть ставку, на несколько дней доверив внешний фронт начальнику штаба, генералу Лукомскому. Лукомский отлично справился бы с этим. К тому же в это время была лишь одна видимость фронта и, хотя русские позиции были почти обнажены, немцы не предпринимали ничего,

ожидаю, пока русская армия не развалится окончательно. Что надлежало сделать Корнилову? Как и ступил бы подлинный диктатор со вкусом и аппетитом к власти на месте этого человека с лицом китайского божка?

Надев декоративную черкеску и такую же декоративную белую папаху, Корнилов сам должен был вести наступление на Петроград, грозное, стремительное, не дающее опомниться. Он сам – впереди всех со, своими текинцами, эффектный, бьющий по воображению авангард, и тотчас за этим авангардом вся Дикая дивизия.

Можно ли сомневаться в успехе, надо ли пояснять всю его головокружительность?

Корнилов не сделал этого. Он остался в Могилеве, а себя, незаменимого, «заменял князем Багратионом».

Лютый враг не подсказал бы худшего выбора. Генерал князь Дмитрий Петрович Багратион являл собой полное ничтожество и как человек, и как воин вообще, и как кавалерийский генерал, в частности.

Сначала, командуя бригадой Дикой дивизии, а потом и всей дивизией, Багратион не

был ни разу не только в бою, но даже и в сфере артиллерийского огня.

Дальше своего штаба он ничего не знал и не видел. Даже перспектива заслужить Георгиевский крест не могла победить его трусость.

Один из близких ему офицеров почти умолял его:

– Ваше сиятельство, только покажитесь в зоне огня, и вас ждет Георгий!

– Ну какие там пустяки! Пойдем лучше завтракать, – с улыбкой возразил высокий, стройный, красивый, с пепельной сединой Багратион.

Этот человек, в жизни своей не командовавший даже такой маленькой единицей, как эскадрон, получив дивизию, оказался совершенно беспомощным.

А когда разразилась революция, помимо трусости физической, он обнаружил еще и трусость гражданскую. Вчерашний монархист – и какой монархист! – он сразу стал подлаживаться под Керенского и под Смольный.

Будь его дивизия не «туземной» кавказской, а обыкновенной армейской, он в усер-

дии своем насадил бы в ней комитеты, и она развалилась бы в несколько дней.

Начальник штаба дивизии, более умный и хитрый, полковник Гатовский целиком прибрал Багратиона к своим холеным, надушенным рукам. Бездушный, беспринципный карьерист Гатовский решил сыграть на революции и выдвинуться. Для этого у него имелся козырь – недавнее разжалование из полковников в рядовые. На солдатских митингах свое разжалование он объяснил так:

– Товарищи, я сам при Николае пострадал за правду! Я был разжалован им за то, что боролся за ваши солдатские нужды. Я, как вы, сидел в окопах и кормил собою вшей!

Гатовский опускал маленькую подробность: будучи несколько месяцев «а солдатском положении, в окопах он ни разу не сидел, а летал в качестве наблюдателя на аэроплане. Он и пол солдатской гимнастеркой носил шелковое белье, к которому никогда никакие вши не пристают. А разжалован Гатовский был вот почему и при каких условиях: на Рижском фронте действовал на правах корпуса так называемый «особый кавалерий-

ский отряд князя Трубецкого». Князь Юрий Трубецкой – его называли Юрием Гордым, – бывший командир собственного его величества конвоя, большой сибарит и сноб, как кавалерийский генерал едва ли уступал даже князю Багратиону. Всем ворочал наглый и самовлюбленный Гатовский. Одной из бригад в отряде командовал принц Арсений Карагеоргиевич, брат покойного короля сербского Петра и брат благополучно здравствующего короля Александра...

Принц Арсений, отважный кавалерист, участник несколькими войн, попал в немилость к начальнику штаба. Гатовский придрался к генералу Карагеоргиевичу и давал его бригаде самые нелепые и невыполнимые задачи, посылал ее на заведомо бесславное истребление без всякой пользы для боевой обстановки.

В конце концов чаша терпения переполнилась у принца Арсения, и он наотрез отказался выполнить очередной приказ начальника штаба. Гатовский перед фронтом наговорил принцу дерзостей, а принц, горячий, самолюбивый, обозвал его трусом и несколько раз

ударил его стеклом по лицу и по голове...

Гатовский убежал и спрятался.

Скандал вышел слишком громкий, чтобы его можно было замять. Принц Арсений отстранен был от командования бригадой, получив другое назначение, а Гатовский был разжалован в рядовые. Так он пострадал «за правду при Николае». Разжалование ничего ему не принесло, кроме новых лавров. О нем заговорили. За свои наблюдательные полеты и сбрасывание бомб на безмятежно пасущихся коров, да и то в своей собственной, а не в неприятельской зоне, он получил два солдатских Георгия, а с этими Георгиями и с академическим значком щеголял на Невском проспекте в дни своих частых визитов в Петроград.

А через несколько месяцев он высочайше восстановлен был во всех правах, вновь надел полковничьи серебряные погоны свои с двумя черными полосками и устроился начальником штаба в Дикую дивизию.

Дивизия, эшелон за эшелон, двигалась на Петроград, а Гатовский и Багратион, оставаясь в глубоком тылу, заняли выжидатель-

ную позицию. Гатовский истолковывал ее так:

– Если дивизия займет Петроград, победителей не только не судят, а, наоборот, возносят. Вознесемся и мы! Если же авантюра потерпит крах, у нас будет оправдание и перед Керенским, и перед советом рабочих депутатов. Мы скажем, что мы не только не шевельнули пальцем для завоевания Петрограда а, наоборот, всячески тормозили движение дивизии неопределенными и сбивчивыми приказаниям...

«А счастье было так возможно, так близко...»

Эшелоны продвигались на север. Железнодорожники не чинили препятствий. Не потому, что не хотели, а потому, что боялись этих офицеров в кавказской форме и этих всадников, таких чуждых, не говорящих по-русски.

И железнодорожники с тупой, напряженной злобой давали паровозы, пропускали поезда с товарными вагонами, где перемещались и маленькие нервные лошади, и такие

же нервные, смуглые, нездешние бойцы с их непонятной гортанной речью.

В голове эшелонов двигалась бригада – Ингушский и Черкесский полки под командой князя Александра Васильевича Гагарина.

Гагарин всю свою жизнь провел в армейской кавалерии и всю жизнь был отличным строевым офицером, – чему нисколько не мешали ни его кутежи, ни его долги. Добровольцем уехал на японскую войну и там отличился. А теперь это был генерал лет шестидесяти с коричневым лицом, сизым носом и неуклюжей походкой старого кавалериста. На лошади князь преобразался и молодец.

Вдоль маленькой станции, двухэтажной, деревянной, с неизменной кирпичной башней водокачки, вытянулся эшелон. Гагарин, тяжело ступая ревматическими ногами, прохаживался по платформе с несколькими офицерами. Сквозь широкие квадраты зияла внутренность товарных вагонов. Там стояли и сидели, свесив ноги наружу, всадники. Пофыркивали лошади, глухо ударяя копытами о деревянный помост.

Через час будет подан паровоз, и эшелоны

один за другим будут подтягиваться к Гатчине. А еще с ночи и к самой Гатчине, и к ее флангам брошены были разъезды не только черкесов и ингушей, но и других полков дивизии... И от них, как и от разъездов своей бригады, князь Гагарин получал донесения.

И в это солнечное августовское утро приближался вдоль полотна скачущий на взмыленной лошади всадник. Напоследок огрел коня плетью, спружинившийся конь одним броском очутился на шпалах, и всадник подлетел к остановившейся группе офицеров, с чисто горским молодечеством круто осадив коня, хищным кошачьим движением соскочил и, приложив руку к папахе, подал Гагарину клочок бумаги.

Князь вслух прочел карандашные строки:

«Доношу вашему сиятельству, что с десятью всадниками занял Гатчину и захватил артиллерию. Великого князя в Гатчинском дворце не оказалось. По слухам, его высочество отвезен в Петроград. Что делать дальше? Корнет Тлатов».

Веселым смехом встречена была эта реляция. Гатчину, с ее гарнизоном в несколько

тысяч, захватил разъезд из нескольких всадников. Ясно, что о сопротивлений никто и не помышлял. С такой же легкостью должен пасть и Петроград.

Лицо Гагарина, одинаково спокойное и в бою, и в мирной обстановке, не отразило ничего. Он только оказал:

– Карандаш и бумагу.

Кто-то протянул карандаш, кто-то вырвал из записной книжки листок, а третий кто-то подставил свою полевую сумку. И Гагарин дрожащей рукой набросал:

«Корнету Тлатову. Удерживайте Гатчину до нашего прихода. Генерал-майор князь А. Гагарин».

С такой же легкостью, с таким же приблизительно количеством всадников, без потерь с обеих сторон занимали разъезды Дикой дивизии подступы к Петрограду. Блестящее начало, сулившее такой же блестящий конец. И офицеры, окружавшие князя Александра Васильевича, настроены были оптимистически, и на этом безоблачном, как ясная лазурь небес, оптимизме была единственная тучка – медлительность.

Сам Гагарин, этот поживший генерал с молодой, пылкой, крепкой душой, высказывал:

– Я кавалеристом был всю свою жизнь и умру им! А штаб дивизии делает из меня какого-то дипломата. «Продвигайтесь, внимательно считаясь с обстановкой. Соблюдайте политику с железнодорожниками». Какая обстановка? Что там еще за политика? Мне дан приказ. Я его выполняю. Если бы железнодорожники вздумали мне препятствовать, я велел бы их тут же, на станции. Потом еще Гатовский сегодня именем генерала Багратиона приказывает мне ждать в Гатчине дальнейших распоряжений. Я этот гатчинский антракт для дела» считаю вредным. Только в непрерывном движении сохраняется дух для последнего решительного удара.

Все кругом возмущались штабом дивизии, из своего глубокого тыла весьма двусмысленно и сбивчиво руководившим наступлением.

– Ваше сиятельство, разрешите вам доложить, – молвил Тугарин, – эта лисица Гатовский ведет какую-то двойную игру. Следовало бы, порвав с ним всякую связь, идти без всяких антрактов, а если, судя по донесениям, за

Гатчиной разобран путь, это не существенно. Сорок верст до Петрограда сделаем походным порядком. Тугарина поддержал Баранов:

– Конечно, походным порядком! Конечно, порвать всякую связь. Надо считаться с психологией «туземцев». Они темпераментны и нервны; бездействие влияет на них сначала угнетающе, а потом разлагающе. Да и мало ли какие могут еще выявиться вдруг внешние причины. Теперь такое время: каждый час может поднести самые неожиданные, негаданные сюрпризы.

Молча слушал Гагарин. Он был согласен и с Тугариньш, и с Барановым, и с остальными, кто молча одобрял их. Разумеется, правда на их стороне, но без малого сорок лет офицерской службы впитали в плоть и кровь Гагарина подчинение прямому начальству. Он не мог понять, как это можно не выполнить приказ, и в то же время понимал, что от удачи или неудачи похода зависит судьба России.

Патриот-монархист боролся в нем с дисциплинированным солдатом и, колеблясь, не взяв еще определенного решения, он откля-

нил его до Гатчины. «Там будет видно», – успокаивал он себя.

А на станцию прибывали из Петрограда некоторые офицеры Дикой дивизии – офицеры, которым мучительно хотелось наступать вместе с дивизией на Петроград.

Всем легко удалось прорваться. Они сообщали свежие новости: Керенский мечется в истерике. Ищет спасения в объятиях большевиков и наводнил Зимний дворец матросами с крейсера «Аврора», запятнавшими себя недавно чудовищными злодействами. Эти матросы забрызганы! свежей, еще не успевшей высохнуть кровью, кровью своих же офицеров, поголовно вырезанных и замученных ими. Убийцы с «Авроры» несут в Зимнем дворце все внешние и внутренние караулы вместо юнкеров. Юнкера, под подозрением в сочувствии Корнилову, и глава Временного правительства не доверяет ему.

В штабе петербургского военного округа паника. Там не скрывают своей обреченности: «Придут «туземцы» и всех нас перевешают».

К сожалению, главные агенты Корнилова,

получившие крупные суммы для поднятия восстания в самом Петрограде, оказались далеко не на высоте. Это генерал Шлохов и инженер Фисташкин. Их нигде нельзя было найти, и только случай помог напасть на их след. Они две ночи кутили на «Вилла Роде», для дела палец о палец не ударив. Из трусости или из каких-нибудь других соображений, эти господа не вошли в соприкосновение ни с военными училищами, ни с офицерскими организациями. Они перенесли свою штаб-квартиру на «Вилла Роде». Там они проявляют большую активность.

Смольный, обыкновенно такой шумный, разгульный, вымер. Живой души нет. Депутаты похрабрее сидят на Финляндском вокзале, готовые в любой момент к бегству. К услугам их поезд, стоящий под парами. Депутаты менее храбрые уже очутились в Белоострове, на самой границе.

Оборона Петрограда более чем смехотворна. Министр земледелия Чернов руководит установкой батарей. Что можно еще прибавить? Вчерашняя подпольная крыса возомнила себя артиллерийским генералом!

Вообще, вести благоприятные.

Только вечером головной эшелон со штабом бригады подходил к Гатчине, манившей и звавшей во мраке своими огоньками.

Перед самой Гатчиной стояли минут двадцать среди поля. В вагон князя вошел Тугарин и доложил через адъютанта о своем желании видеть командующего бригадой.

– Что скажете? – спросил Гагарин.

– Ваше сиятельство, разрешите мне сделать глубокую разведку.

– Что вы называете глубокой разведкой? До Пулковских высот?

– Значительно дальше, – ответил Тугарин.

– До Нарвских ворот?

– Еще дальше!

Князь понял. Тугарин, отчаянная голова, желает побывать в Петрограде еще до появления там авангардов дивизии. И побывать не как-нибудь, а в конном строю, сея панику среди левых и окрыляя надеждой девять десятых населения столицы, измученного, истерзанного безвластием керенщины и произволом засевших в Смольном бандитов. Конечно, желание Тугарина риск и безумие, но разве сам

Он, князь, в молодости не безумствовал, и разве, вообще можно указать предел молодечеству и лихости настоящего кавалерийского офицера?..

Он только сказал:

– Не вздумайте взять с собой целую сотню.

– Никак нет, ваше сиятельство, самое большое – всадников двенадцать вместе со мной.

– И потом... потом, вы сами понимаете, Тугарин, авантюра головоломная.

Тугарин ответил с каким-то вдохновенным лицом и с ноткой неотразимо проникновенной убедительности в голосе:

– Ваше сиятельство, после отречения государя императора, после того, что вся эта сволочь сделала с Россией, уже ничего не страшно.

Князь повернулся к окну и как-то уже слишком внимательно углубился взглядом в мутные вечерние дали... Затем, фыркнув носом, достал платок...

– Черт возьми, насморк схватил! – и, вместо носа, поднес платок к глазам. – Ну, голубчик Тугарин, ступайте! Разрешить я вам не могу, но и запретить не могу! Официально я

ничего не знаю. Ступайте с Богом!

Глубокая разведка

С Тугариным вызвались в глубокую разведку два офицера – корнет Юрочка Федосеев и прапорщик Раппопорт, петербургский помощник присяжного поверенного. Раппопорт, когда пришел его срок, выбрал Дикую дивизию. Длинная черкеска сидела на нем, как подрясник, так одевались «по-кавказски» еще разве Секира-Секирский и корнет Кухнов. Но, будучи внешне забавным, Раппопорт обнаружил совсем не адвокатскую смелость: его всегда тянуло вперед. Он сам напрашивался в разведку. Так было и в данном случае. Он так трогательно умолял взять его, что Тугарин не мог да и не хотел отказать. Из всадников Тугарин выбрал восемь ингушей, сплошь Георгиевских кавалеров, готовых идти за ним хоть на край света. Среди них был семидесятилетний Бек-Боров, всадник еще конвоя императора Александра II, сухой, цепкий наездник с крашеной бородой.

С рассвета двинулись переменным аллюром по обочинам старого Гатчинского шоссе.

Как ни опереточно была поставлена защита Петрограда, но все же эти одиннадцать всадников шли навстречу полной неизвестности. Какая-нибудь засада какого-нибудь взвода стойкой пехоты могла, укрывшись, перестрелять их. И несмотря на это, а может быть, именно поэтому, настроение у всех было бодрое, приподнятое, охотничье. И такое же бодрое, солнечное занималось утро в ясной дали и в отчетливых контурах.

По временам Тугарин цейсовским биноклем своим ощупывал местность, а ингуши острыми глазами горцев видели то, что он видел в бинокль.

Верстах в двадцати от Гатчины, оставшейся позади, поперек шоссе – тяжелая батарея. Хоботы орудий смотрели в землю, и в момент стрельбы в землю же неминуемо должен уходить снаряд.

Офицеры хохотали над такой невиданной установкой орудий.

Подъехали вплотную, держа на всякий случай винтовки наготове. Но эта предосторожность оказалась совершенно излишней. Солдаты артиллеристы не только не прояви-

ли никаких враждебных намерений, но встретили разъезд более чем радушно. По выправке и внешности это были кадровые артиллеристы.

– Здорово, братцы! – приветствовал их Тугарин.

– Здравия желаем, ваше высокоблагородие! – подтянуто, дружно ответили солдаты!

– Что же это ваши пушки повесили носы?

– А это уж не ваша забота, – улыбаясь, молвил бравый унтер-офицер, – начальство приказало, а нам хоть бы что.

– Какое начальство?

– Новое! Приезжал на машине вольный один, патлатый... Бог его знает, кто. Назвался, что мужицкий министр он, Чернов по фамилии. Поставьте, говорит, пушки этак. Мы и поставили. Сказывают, Корнилов идет. Разогнал бы эту сволоту. Смотреть противно, что делается.

– А сзади вас что? – спросил Тугарин.

– Да там верст за пять рота семеновцев.

И, действительно, вскоре наткнулись всадники на большую пехотную заставу. Шагов за восемьсот пехота выкинула белый флаг. Ока-

залась рота семеновцев, не запасной сброд, а настоящие, побывавшие в боях гвардейцы.

И здесь то же самое, что и на батарее: удовольствие, что наконец-то «разгонят эту сволоту». Теперь уже не было никаких сомнений: Петроград можно голыми руками взять.

– Счастливого пути! – пожелали семеновцы.

– Увидите, мы возьмем Петроград. Мы – разъезд конного Ингушского полка! – с каким-то мальчишеским задором похвалялся Раппопорт.

– Как это дико все, в конце концов. Я, помощник присяжного поверенного, интеллигент, горожанин, трясусь на высоком азиатском седле, одетый в черкеску, которую видел раньше только на картинках, а другой, такой же, как и я, помощник присяжного поверенного, горожанин и интеллигент, сидит в Зимнем дворце притворяясь, что властвует над Россией, и мы с ним враги. Мы, какой-нибудь год назад уничтожавшие бутерброды в буфетной комнате окружного суда. Разве это не дико, разве не дико, что я – прапорщик Ингушского полка, а он – глава Временного прави-

тельство?

Не встретив больше на пути никаких батарей, никаких пехотных застав, разъезд, втянувшийся в предместья столицы, миновал Триумфальную арку Нарвских ворот. Отсюда началось уже соприкосновение с Петроградом.

Кучи солдат, бродивших по улицам, одуревших от безделья и лузганья семечек, завидев всадников в непривычной для глаз форме, кидались в первую попавшуюся подворотню, кидались с криком:

– Черкесы пришли!

И это «черкесы пришли» бежало вперед назад, вправо и влево.

Через час-другой уже не было в Петрограде улицы, не было квартала, где бы «своими собственными глазами» не видели бы черкесов. Никогда не – воевавшие солдаты и рабочие говорили об этом со страхом, боясь расплаты за свои безобразия и бесчинства. Обыватели, жертвы всех этих безобразий, говорили о черкесах с восторгом. Наконец-то они сметут заодно и слюнявую керенщину, и разбойно-большевицкий совет!

Но все, решительно все прятались – и те, что боялись черкесов, и те, что готовы были забросать их цветами. Первые – опасаясь расстрела на месте, вторые были запуганы и колебались, не зная, чья возьмет?..

Тугарин чувствовал себя хозяином положения. Теперь уже нечего опасаться каких бы то ни было сюрпризов. Лучший союзник одиннадцати всадников – наваянная, ими паника. Она создает вокруг них мертвое пространство, она множит маленький разъезд в сотни и тысячи раз.

На Забалканском проспекте, у «Серапинской» гостиницы, решено было сделать короткий привал и подкрепиться. Офицеры и Бек-Боров вошли в ресторан, а ингуши остались коноводами. Через минуту им вынесли пирожков, холодного мяса. От водки они отказались как истые мусульмане. Отказался и Бек-Боров, но офицеры выпили по стакану очищенной.

А минут через десять все были уже на лошадях и, свернув по Фонтанке к Невскому проспекту, увидели знаменитых клодтовских коней. Гранитные цоколи их были сплошь за-

клеены революционными воззваниями, а одному из античных юношей вставлен был в руку красный флаг.

Тугарин хотел видеть Лару, хотел унести к Таврическому саду. Их разделяли пять-шесть минут. Но свое личное он приберег напоследок: сначала в Смольный, в этот подлый всероссийский гнойник!

Но Смольный вымер. И там тихо, и там никто не выглядывает из окон. Только над вековыми деревьями кружатся с противным карканьем черно-синие вороны.

Депутатская мелкота разбежалась, попряталась, депутаты покрупней выжидают события, одни на Финляндском вокзале, другие почти на границе.

Между металлической оградой Таврического сада и низенькими флигельками офицерской кавалерийской школы подъехали всадники к дому Лары. У дверей стоял швейцар с густыми баками. Узнав Юрочку, он сорвал с головы обшитую галуном фуражку.

– Лариса Павловна дома? – спросил Юрочка.

– Никак нет. Ларису Павловну вчера увез-

ли.

– Кто увез? Куда?

– Так что арестовали по ордеру Смольного...
го...

Тайна «политического кабинета» на Захарьевской

Наступление сначала остановилось, как бы нерешительно повиснув в воздухе, и затем постепенно сошло на нет. Оно растаяло не перед хотя бы мало-мальски реальной силой – мы видели ее, эту силу! – а перед фантомом. Неудача эта была морально политической неудачей. Был ли еще хоть один случай в истории, чтобы спаянная дисциплиной, воинственная, отлично вооруженная кавалерийская дивизия очутилась в таком же бездейственном положении; перед «пустотой», в буквальном смысле слова; пустотой, где черновские орудия уперлись хоботами своими в землю и пехота весело и радостно пропускала разезды «неприятеля».

Не было, наверное, не было. И по многим причинам. Первая и сама главная – генерал Корнилов, лишенный диктаторского често-

любия, диктаторского темперамента и диктаторского тяготения к власти, не повел дивизию сам, а предоставил ее Багратиону и Гатовскому, из коих один был трусом, а другой политиканствующим прохвостом. Эти двое – трус и негодяй, – оставаясь в тылу, погубили все. Но можно было бы еще спасти положение, если бы князь Гагарин, дотянувшись до Гатчины, посадил бы бригаду на коней и двинулся бы вслед за Тугариным, не ожидая приказания из штаба дивизии. А когда, наконец, получил приказ ожидать в Гатчине дальнейших распоряжений, не пренебрег этим и самовольно не двинулся вперед.

И еще виноват был генерал Шлохов и инженер Фисташкин, частью прокутившие, частью присвоившие миллион рублей, данных им на восстание в самом Петрограде.

Керенский успел выпустить и разослать свое «всем, всем, всем», где клеймил Корнилова изменником и контрреволюционером, желающим расправиться с «завоеваниями революции» под свист чеченских нагаек.

Барон Сальватичи успел подсказать своему другу Отто Бауэру, а тот своему другу Вик-

тору Чернову, а Чернов своему другу Керенскому следующее:

– Навстречу дивизии надо выслать к Гатчине для уговаривания делегацию из туземцев-мусульман...

И, собрав кое-как десяток-другой мусульман, хорошенько заплатив им из государственного банка по ордеру на клочке бумаги, выслали их на грузовике в Гатчину.

Правда, Тугарин не подпустил делегацию близко, но все же отдельные члены ее успели перекинуться словом с отдельными всадниками.

Они убеждали их:

– Зачем вам, кавказским горцам, вмешиваться в дела русских? Разве мало вы навоевались, и разве же ждут вас в родных аулах ваши семьи? Довольно! Керенский отправит вас на Кавказ и еще так наградит – на всю жизнь хватит!..

Клин соблазна и раздора был умеючи вбит, а тут еще неподвижность, бездействие, могущие разложить самых твердых и стойких.

И вот тогда-то примчались на автомоби-

лях довольные Багратион и Гатовский. Багратион мягко выговаривал князю Александру Васильевичу:

– Вот видишь же, друг мой, ведь это была нелепая авантюра! Так и должно было кончиться. Поедем-ка лучше в Петроград. Моя машина быстро, в час, нас домчит. Пообедаем в «Астории».

Из «Астории» Багратион и Гатовский поспешили в Зимний дворец. Керенский, благосклонно пожурив их, дал им излиться в верноподданнических чувствах. Сияющий вернулся Багратион в «Асторию».

– А знаешь, Александр Васильевич, Керенский совсем не такая фитюлька. С ним можно столкнуться. «Туземная» дивизия будет переименована в корпус, и мне обещано, что я прямо отсюда, не выгружаясь, поведу корпус на Северный Кавказ... Кстати, Керенский желает тебя видеть...

– Да? – иронически переспросил Гагарин. – Но у меня нет никакого желания видеть господина Керенского.

– Напрасно, напрасно, Александр Васильевич! Был царь-батюшка, мы служили ему, а

теперь вписана уже новая страница истории, и ее никак не вырвешь!

Багратиона ждало разочарование. Несмотря на всю свою угодливость и гибкость, он был оттерт, и «туземный» корпус был дан генералу Половцеву. Не потому, что Керенский питал к Половцеву нежные чувства, а потому, что Половцев был бесцеремонно устранен от командования петербургским военным округом, и желательно было теперь его как-нибудь сплавить, но сплавить, позолотив пилюлю.

То же самое или почти то же самое произошло и с тем корпусом, который по другому направлению вел на красную столицу генерал Крымов. Уже по дороге в казачьих частях началось брожение. Корпус разваливался в вагонах. Даже кое-кто из офицеров, самовольно оставив свои полки, поспешил в Петроград в чаянии сделать карьеру, карьеру перебежчиков.

Один из этих милостивых государей, ротмистр Данильчук, успел даже вернуться на автомобиле, и не в единственном числе, а с полковником Самариным, фаворитом Керен-

ского.

Они уговаривали генерала Крымова:

– Ваше превосходительство, было бы безумием упорствовать! Ваш корпус может с минуты на минуту открыто взбунтоваться. Дикая дивизия застряла в Гатчине. Ставка на Корнилова бита! Спасайся, кто может! Поедем же в Петроград. Керенский уважает вашу доблесть и готов простить вас.

– Готов меня простить? Он меня? За что? – возмутился Крымов. – Да у меня в кармане его телеграмма, вызывающая мой третий конный корпус в Петроград! И после этого он готов меня простить? Что за гнусная комедия!

В конце концов Самарин и Данильчук убедили потрясенного и надломленного Крымова поехать вместе с ними.

Говорили, что объяснение Керенского с Крымовым было бурное и что даже Крымов ударил Керенского по физиономии. Говорили, что после этого в Крымова стрелял, по одной версии, адъютант, Керенского, по другой – Савинков. Раненый Крымов будто бы вынесен был в автомобиль и отвезен на Захарьевскую, 17, в так называемый «политический каби-

нет» Керенского.

Несколькими часами спустя, уже поздно вечером, к Марье Александровне Крымовой, жившей с дочерью и сыном на Лиговке в громадном доме Перцова, явился ротмистр Данильчук. Крымова знала Данильчука давно с не особенно светлых сторон, знал а, что на войне Данильчук сам прострелил свою записную книжку, а после требовал боевой награды за пулю, «чудом пощадившую его жизнь».

Но Крымова почти обрадовалась Данильчуку. Офицер ее мужа! Без сомнения привез какие-нибудь новости. Крымова ничего еще не знала про бурную сцену в Зимнем.

– Где Александр Михайлович? Данильчук сделал таинственное лицо и так же таинственно произнес:

– Александр Михайлович?.. Я как друг вашей семьи... Ну, словом, Марья Александровна, возьмите себя в руки...

– Ради Бога, что с ним?!

– Видите... генерал пытался лишиться себя жизни...

– Он жив? Жив? Не мучьте меня!..

– Он был жив... то есть, я хочу сказать, что

Александр Михайлович не сразу скончался. После этого... как бы вам сказать... несчастного инцидента он жил еще около четырех часов...

Обезумев от горя и бешенства, Крымова, готовая растерзать Данильчука, вцепилась в его шинель.

– Как же вы могли... как вы смели не известить меня тотчас же?

– Марья Александровна, ни слова больше! И стены имеют уши... Ничего не спрашивайте, Ни о чем не допытывайтесь, ни с кем не говорите... Только при этих условиях вы можете рассчитывать на усиленную пенсию...

Крымова, не слушая, перебила Данильчука:

– Я хочу быть у его тела! Везите меня!

– Вот, ей-богу, какая вы! Я же вам сказал: надо сидеть смирно и тихо. Тогда все будет хорошо. А когда можно будет допустить вас к телу Александра Михайловича, я вас немедленно извещу. И затем еще имейте в виду: похороны без всяких демонстраций! Это желание Керенского. За гробом можете идти только вы с детьми. Больше никто! Если вы будете

слушаться во всем, вы можете рассчитывать на пенсию. Могу вас утешить – узнав про самоубийство Александра Михайловича, Керенский сказал: «Он поступил как честный человек».

Допустили только через два дня в Николаевский госпиталь, где старший врач подвел ее к синему, одеревеневшему телу под грубой, с большим клеймом простыней. Врач показал огнестрельную рану на широкой, богатырской груди покойного и, убедившись, что никого нет, объяснил шепотом:

– Странное самоубийство... очень странное. Обратите внимание – края раны не обожжены, у меня впечатление, что выстрел был произведен на расстоянии двух шагов... Да и само направление пули... Самому нельзя так застрелиться. Нельзя! Я вам говорю как жене покойного, но прошу вас, это между нами...

Столбняк охватил бедную женщину. Через несколько минут молчания она тихо спросила:

– А где же все бывшее на нем? У мужа всегда набиты карманы бумагами, записными книжками, документами...

– Ничего этого нет, – покачал головой врач, – тело доставили, как вы его сейчас видите.

На другой день ротмистр Данильчук исчез, и больше его никто никогда не встречал. В этот же самый день полковник Самарин выехал сибирским экспрессом, получив в командование Иркутский военный округ.

Тайна «политического кабинета» на Захарьевской и теперь, спустя 12 лет, продолжает оставаться неразгаданной. Как именно погиб Крымов? Кто был при нем в часы его агонии? Куда девались бывшие при нем бумаги и в том числе телеграмма Керенского, вызывавшая в Петроград третий военный корпус – все это до сих пор темно, туманно и полно одних лишь догадок...

Во власти горилл

Лара изо дня в день озарялась надеждой. Что-то должно совершиться, должно! Нет сил больше ни терпеть, ни ждать...

Солдаты и чернь громили винные склады. Нагруженные бутылками, зловещими силуэтами, какими-то двуногими шакалами двигались посреди улицы с пьяным смехом и пьяной бранью. О чугунные тумбы панелей разбивались горлышки бутылок, и громилы, напившись до бесчувствия, тут же падали за мертво.

А Таврический сад шумел своими деревьями, гулял в его гуще ночной ветер, и никогда эти завывания не чудились Ларе такими безотрадно тоскливыми.

Вечерами выйти или выехать было далеко не безопасно. Грабили с наступлением сумерек. Царила анархия. Смольный ее поощрял, а Временное правительство не могло да и не смело ее обуздать, боясь «народного гнева».

И когда весь город насыщен был до изнеможения одним и тем же, одной и той же гипнотизирующей мыслью – они уже близко,

они идут, идут! – к Ларе ворвалась банда матросов во главе с Карикозовым.

Она узнала его тотчас же, узнала, хотя он так теперь был непохож на того смешного, трусливого самозванца, которого она из жадности посадила за свой стол в киевском «Континентале».

Упоенный своей властью, он был груб и нагл, для пущей важности задирали еще выше свой нос-картофелину, и еще асимметричней казалось его лицо, перекошенное торжествующей злобой. И здоровенные, сильные матросы, и неказистый Карикозов одинаково липкими, бесстыжими глазами смотрели на эту женщину, еще недавно такую недоступную, а теперь бывшую всецело в их власти.

– Ну што, ну што, гражданка, – сквозь зубы допытывался Карикозов, – ждаешь, гражданка, свой туземец? Жди, жди свой прохвост Тугарин, любовник свой!

Она молчала, бледная, беззащитная, думая об одном: только бы побороть животный, страх свой, побороть мелкую дрожь лица, всего тела.

Карикозов продолжал сквозь зубы:

– Он придет, а только ты его не увидишь!
Нэт. Одевайся!

Она стояла, потеряв способность двигаться, мыслить. Что-то глухое, тупое, как столбняк, овладело ею.

Карикозов подошел вплотную, обдавая ее зловонным дыханием.

– Одевайся, слышь, тебе говору!

И, подхлестывая свою пробудившуюся похоть, он выкрикнул исступленно: «Ты красивый блад!». И он еще несколько раз повторил это ужасное слово.

Матросы захохотали, как жеребцы, и теснее обступили Лару.

И, может быть, они все скопом бросились бы насиловать ее, вырывая друг у друга, но у Карикозова были свои особенные соображения.

– Товарищи, нельзя! Товарищи, у меня ордер! Нада закон соблюдать. Мы она арестуем. Обиск сделать нада! Нет ли оружий, документы? Это известии контрреволюционни девка!..

Недолго продолжался обыск. Расхватали все драгоценности, схватили несколько зо-

лотых монет, пачку царских сторублевок, вывели Лару на улицу и, втиснув в машину, помчались к набережной.

Вся эта банда на миноносце доставила Лару в Кронштадт.

Судьба трех всадников

Кто-то подсказал Керенскому:
– Дикая дивизия – это единственная организованная сила, все еще опасная для революции, несмотря даже на неуспех под Петроградом. Чем она будет дальше, тем будет лучше для завоеваний революции. Там, на Кавказе, полки разойдутся по своим племенам и Дикая дивизия отойдет в историю.

«Умный» совет был подхвачен. «Туземцы» проехали эшелонами своими в северо-восточном направлении все взбаламученное море сумбурного российского лихолетья. Все это было им чуждо, как чужда была сама Россия. Ее горцы не знали и не понимали. Для них была Россия, покуда был царь, которому они присягали. И за царя они шли, и его именем творили чудеса лихости и отваги.

И когда не стало царя, рухнула власть, ко-

ей они подчинялись.

Это было на руку большевикам, со дня на день готовым спихнуть жалкий комочек чего-то бесформенного, именовавшегося «Временным правительством». Большевики знали – если казаки и горцы объединятся, это будет грозная сила, и с ней не только не справиться, а она сама властно продиктует свои условия всей остальной осовеченной и омандаченной России. И не успели ингуши вернуться к себе, на Кавказ, как тотчас же закипела распря.

В нее влился третий элемент – жители Курской молоканской слободки, все сплошь распропагандированные большевики. Один вид офицерских погон приводил их в остервенение, на ком бы эти погоны ни были – на «туземце» или на армейце.

Слобожане вместе с казаками образовали «блок» против горцев. Хотя и с казаками им было не совсем по дороге, но казаки были вооружены и организованы. Казаки были военные, бойцы, а слобожане только разбойники. Ингушам держаться в самом Владикавказе; было и невыгодно, и ненужно, и опасно. Они

хлынули в свое Базоркино и в Назрань, другой такой же ингушский городок, и рассыпались по аулам. Там они были у себя, и туда уже не дотянуться ни казакам, ни тем более слобожанам.

Так ингуши как боевая единица держались не только до большевистского переворота, но и значительно позже.

Своим офицерам не «туземцам» – а таких было подавляющее большинство – они объявили:

– Живите у нас. Мы вас никому не выдадим, а останетесь во Владикавказе, мы за ваши головы не отвечаем.

Но было известно, что с фронта пришел во Владикавказ какой-то полуразвалившийся не то дивизион, не то полк терских казаков, занял Курскую слободку и оттуда грозился:

– Мы всех ингушей перережем! В одно сентябрьское утро, когда, как розовый жемчуг, сияли на солнце подступившие к Владикавказу снежными вершинами своими горы, из Базоркина, этой ингушской столицы, выехал сначала последний адъютант полка с кем-то; вслед за ним корнет князь Грузинский, тоже с

кем-то, а минут через пять за Грузинским поехали во Владикавказ трое – полковник Мерчуле со своим младшим братом и ротмистр – ингуш Марчиев. Зная, что казаки жестоко расправляются с ингушами, Марчиев имел на всякий случай подложное удостоверение на имя русского офицера с типичной русской фамилией.

Интересно отметить – судьба и только судьба, – что Грузинский со своими спутниками благополучно проехали во Владикавказ и так же благополучно вернулись, а братья Мерчуле, двинувшиеся почти вслед за ними, уже не вернулись.

Под самым городом, у окраины, они заметили казачий разъезд в десять всадников.

Марчиев, выросший здесь, воспитанный в недоверии к казакам, предложил:

– Господин полковник, повернем обратно, в Базоркино. Не нравятся что-то мне эти казаки. Лошади у них дрянные, мы уйдем от них, как от стоячих.

– Полно, Марчиев... Они нам ничего не сделают.

Ингуш был другого мнения, но покинуть

Мерчуле и спастись одному он считал бы вероломством и трусостью. Мальчишки и старухи всей Ингушетии засмеяли бы его.

Едут дальше. Сблизились.

– Кто вы такие? – спрашивают казаки.

– Русские офицеры.

– А на погонах что?

– Ингушский конный.

– Так, значит, вы ингуши?

– Нет, вовсе. Не значит, братцы, – спокойно молвил Мерчуле, – мы офицеры ингушского полка, но вот мы с братом абхазцы, а этот офицер русский.

Казаки переглянулись. Тупые лица, пустые глаза, глаза людей, привыкших убивать на фронте и научившихся убивать в тылу.

– А веры какой? Мухометанской?

– Разве вы не знаете, что абхазцы православные? – по-прежнему спокойно возразил Мерчуле.

Пустые казачьи глаза не верили. Тогда вскипел потерявший всякую осторожность Марчиев:

– Как вы смее не верить господину полковнику! Он и его брат христиане, а если хо-

тите знать, так это я, я ингуш, мусульманин. Можете меня арестовать, а их отпустите!

– Ладно, мы вас доставим к сотенному командиру, а уж он разберет... Айда! Вперед!!!

И, пропустив трех всадников и окружив их подковой, вместе с ними двинулись к слободке. Дорогой, перемигнувшись, казаки решили тут же покончить с ингушами. Несколько выстрелов в спину и в затылок. Так и пали братья Мерчуле и Марчиев.

Весть о подлой расправе всколыхнула все Базоркино. К сожалению, действовать по горячим следам не пришлось. Трагическая гибель братьев Мерчуле и Марчиева стала известна лишь на второй день. Опрошенные слобожане вспомнили, что один из сотенных командиров ехал на лошади убитого ингушского полковника. Слобожане же показали огромную навозную кучу, где убийцы зарыли тела своих жертв. Трупы оказались раздетыми, обобранными...

Верные священным адатам

Во Владикавказе ингуши появлялись за получением жалованья. От имени Керенского им было обещано, что и по расформировании дивизии не прекратится выдача жалованья. Они приезжали в город в конном строю, несколькими сотнями, вооруженные до зубов, и со своими офицерами-ингушами. У казначейства спешивались и выставляли пулеметы, чтобы казаки не могли атаковать врасплох.

В казначейство входили офицеры и всадники постарше с одним и тем же лаконичным приказом:

– Давай деньги!

Комиссары, в начале Временного правительства, а потом, в первые месяцы – большевистские, пока еще власть не окрепла, отсчитывали по полковой ведомости целые горы пачек бумажных денег. Этими пачками набивались мешки, и с мешками поперек седел ингуши, оцетиниваясь винтовками, возвращались к себе.

Следуя своим адатам, этим неписанным за-

конам, как ингуши, так и все остальные горцы, спасали у себя в аулах не только своих офицеров, но и вообще всех, кто искал у них защиты. Долг самого широкого гостеприимства – священный долг для каждого мусульманина не только по отношению к друзьям, «о и к самым лютым врагам. Даже в том случае, если ищущий приюта и очага «кровник», то есть убивший кого-нибудь из той самой семьи, в которой он прячется от преследования. По адатам каждый кровник должен быть убит кем-нибудь из потерпевшей от него семьи. И его убивают, за ним охотятся месяцами, годами. Но эти же самые охотники грудью своей будут защищать кровника, едва он переступит порог их сакли. Ему дадут ночлег, его накормят и даже проводят, охраняя, до соседнего аула. Но, если на другой день кровник попадет где-нибудь своим вчерашним благодетелям, они во имя тех же самых адатов убьют его с чистой совестью, с сознанием исполненного долга.

Так по отношению к смертельным врагам, что же говорить о друзьях или, по крайней мере, о людях безразличных, не сделавших

ни добра, ни зла?..

Неисчислимы примеры из кровавой российской междоусобицы, когда, повторяем, подолгу, очень подолгу скрывали у себя кавказские горцы преследуемых большевиками русских офицеров.

В том же самом Базоркине, в начале большевизма, был такой случай.

Старый ингуш Алиев приютил у себя в доме жандармского полковника Мартынова, местопребыванием которого, вернее головой, весьма интересовались советские комиссары Владикавказа.

Наконец красные шакалы пронюхали, где и у кого скрывается полковник Мартынов. Из Владикавказа снаряжены были два грузовика чуть ли не с полуротой красноармейцев. С грохотом и шумом ворвались в Базоркино грузовики и остановились у дома Алиева.

Навстречу им вышел из ворот старый, седобородый Алиев с двумя сыновьями, Георгиевскими кавалерами. Все трое с винтовками.

– Вам что надо?

– У тебя прячется Мартынов? – последовал ответ с грузовиков.

– Не Мартынов, а полковник Мартынов, и жандармский полковник, – поправил Алиев-отец своих непрошенных гостей. – Только я вам его не выдам.

Вид трех ингушей с направленными винтовками был столь внушителен, что красноармейцы не посмели атаковать дом и, потоптавшись, сознавая глупое и смешное положение свое, умчались во Владикавказ.

Почти одновременно или немного позже, приблизительно то же самое, только в более уже крупном масштабе, разыгралось в одном из черкесских аулов.

Узнав, что в этом ауле находится великий князь Борис Владимирович, большой советский отряд с пулеметами и двумя орудиями занял все подступы к аулу и объявил ультиматум:

– Или Борис Романов будет немедленно выдан, или весь аул будет разгромлен.

Великий князь явился на совещание старейших под председательством муллы. Совет быстро и единодушно вынес постановление:

– Великого «князя не только не выдавать, а, вооружившись, всем защищать его до по-

следнего человека.

Это было объявлено великому князю, на что с его стороны последовало возражение:

– Уж лучше погибну я один, чем вы погибнете все.

Ответ ему держал восьмидесятилетний мулла, семь раз побывавший в Мекке, патриарх в белой чалме с зеленой каймой:

– Ваше императорское высочество, если мы тебя выдадим и через это останемся живы, на головы наших, детей, наших внуков падет несмываемое бесчестье. Мы будем хуже собак, Каждый горец будет иметь право плевать нам в лицо.

В несколько минут весь аул являл собой военный лагерь. Все черкесы вооружились поголовно, все – от стариков до подростков включительно. В штаб отряда красных послан был парламентар с ответом на предъявленный ультиматум.

– Великий князь наш гость, и мы его не выдадим. Попробуйте взять силой...

Долго совещались между собой начальники отряда. Они знали фанатизм горцев, знали, что если даже и победят красные, то це-

ной больших потерь, особенно когда втянут-ся в самый аул, где каждую саклю придется штурмовать, как маленькую крепость. Знали еще, что в этом ауле имеется около шестидесяти всадников Черкесского полка, прошедших опыт Великой войны. Каждый такой всадник стоит десяти красноармейцев. При таких условиях бой был бы рискованной авантюрой.

Сняв осаду, советская орда ушла...

То же самое или приблизительно то же самое «имело место», как пишут в газетах, и в Кабарде, и в Чечне, и в Дагестане – повсюду, где свято соблюдались адаты кавказских горцев.

В то время большевики воевали с терскими казаками, сжигая богатые станицы их и вырезая мирное население. Часть терцев сражалась с красными, часть держалась нейтрально, часть, не имея оружия, не могла примкнуть к борьбе. А советские полчища все напирали и напирали. Несколько тысяч казаков вместе с женами и детьми были притиснуты к Тереку, за которым начинались уже земли чеченцев. Еще день-другой, подой-

дут красные и уничтожат весь казачий табор, отобрав скот, повозки, лошадей и молодых казачек на потеху своим комиссарам... Единственное опасение, если чеченцы пустят беглецов к себе. Тогда общими силами легче отбиться, да и переправа через Терек под огнем противника была бы для большевиков совсем нелегким делом. Казаки послали к чеченцам ходоков умолять о помощи и содействии.

Чеченские старшины воспротивились.

– Ведь мы-то никого «е просим о помощи, отчего же мы должны помогать терцам, от которых мы никогда ничего, кроме худого, не видели? И из-за них мы будем воевать с большевиками?

Тогда выступил бывший адъютант Чеченского полка ротмистр Тапа-Чермоев. Он пользовался громадным влиянием среди чеченцев и сам по себе, и как сын известного и уважаемого генерала-чеченца.

Он же, Тапа-Чермоев, уже успел стать во главе союза горских народов Северного Кавказа. Целью этого союза было отделение горцев от большевистской России, дабы таким образом спасти от советизации свою само-

бытность, свою культуру, свои тысячелетние традиции.

Чермоев обратился к вождям, колебавшимся – пустить или не пустить к себе терцев:

– Пусть казаки были нашими врагами, пусть. Но разве чеченцы отказывали когда-нибудь в гостеприимстве самым неприимимым врагам своим? Наоборот, мы должны и пустить, и обласкать, и защитить казаков, раз они просят под нашу защиту. Неужели мы отдадим их на истребление подлым и кровожадным насильникам? Да это было бы величайшим торжеством для большевиков. Это показало бы им, что, во-первых, мы их боимся, а во-вторых, – что под влиянием общего развала развалились и мы и растоптали все, чем до сих пор так по заслугам гордились. Нет, я не верю, не верю, чтобы чеченцы не протянули руки помощи терцам!

Слова Чермоева устыдили вождей, и ответом на его призыв было единодушное желание оказать приют терцам. А буде красные сунутся через Терек, – потрянуть своей джигитской доблестью.

И мигом закипела работа. Наведено было несколько паромов, и в полдня казаки со своими семьями и своим скарбом переправлены были на чеченский берег и распределены по аулам, где получили и кров, и пищу, и заботливый уход.

А большевики уже подкатились к Тереку. Пехота начала переправляться на лодках и баржах, а конница пустилась вплавь.

Чермоев командовал обороной. Чеченцы расстреливали густившихся на реке красноармейцев. Течение Терека уносило их трупы. Численность большевиков была подавляющая, несмотря на губительный огонь чеченцев, несколькими ротам удалось достичь неприятельского берега и высадиться. Здесь чеченцы встретили их врукопашную, кололи кинжалами, рубили шашками. Разведчики дали знать, что в виде подкрепления подходят свежие части большевиков. Тогда Чермоев, не надеясь на собственные силы, решил чисто по-восточному ударить по воображению тех, кто с часу на час может высадиться. Он приказал обезглавить несколько сот большевистских тел и разложить их вдоль берега, а меж-

ду ногами поставить отрубленные головы. И вместе с тем Чермоев оттянул на вторые позиции свой измученный и также понесший значительные потери отряд.

И когда новые подкрепления на баржах начали переплывать реку, Чермоев, вооружившись биноклем, стал наблюдать.

Вид красноармейских трупов с головами между ног так ошеломляюще действовал на большевистское воинство, что оно, не высаживаясь, расстроенное и уstraшенное, повернуло свои суда обратно, только бы не видеть больше жуткого зрелища, полного леденящей угрозы. Обезглавленные трупы товарищей словно предупреждали: – И с вами то же будет!

Недобрые вести

Глубокая разведка Тугарина, разведка включительно до Смольного, получила широкую огласку, когда после ликвидации корниловского мятежа члены совета рабочих депутатов вернулись назад с Финляндского вокзала и с границы, обменяв фальшивые паспорта на действительные.

И стало известно еще, что Тугарин вместе со своим маленьким отрядом переночевал в кавалергардских казармах на Шпалерной и, не дождавшись своей бригады, утром через всю столицу вернулся к Гатчине так же свободно и беспрепятственно, как и въехал в Петроград.

Совет, успевший опомниться и недавнюю трусость свою заменить прежней наглостью, рвал и метал:

– Как он смел? Это вызов всему пролетариату! Немедленно арестовать и под конвоем доставить в Смольный!

Но арестовать Тугарина было не так легко.

Ингушский полк, хотя уже и не опасный «завоеваниям революции», готовый с часу на

час двинуться к себе на Кавказ, все же являл собою реальную силу, стойкую и вооруженную. Депутация членов совета напрасно расточала свое митинговое красноречие перед старыми всадниками – юнкерами и прапорщиками милиции, лет тридцать назад получившими свои юнкерские нашивки и прапорщичьи погоны.

Они твердили одно:

– У туземцы нет такой закон выдавать свои офицер.

– Но почему вы сами решаете за весь полк? – допытывались делегаты с красными бантами на кожаных куртках.

– Потому что полк – это мы! Молодые всадники слушают нас, стариков.

Так и вернулись делегаты ни с чем. И эшелоны с «туземцами», задерживаясь в пути, медленно двинулись на Кавказ.

Тяжело было на душе у Тугарина. Мелькала мысль, перейдя на нелегальное положение, пробраться в Петроград на поиски исчезнувшей Лары. Это подсказывало ему чувство, а долг, долг подсказывал не оставлять ингушей, так благородно защитивших его от суда

и расправы Смольного. Да и, кроме того, Тугарин, как и все офицеры, тешил себя мечтою о возобновлении борьбы с керенщиной и советами уже оттуда, с Кавказа, где можно будет объединить всех горцев.

Юрочка утешал и подбадривал своего друга:

– Я понимаю тебя, но я верю, что с ней, с Ларой, ничего дурного не будет. Поддержат и выпустят. Даже с их товарищеской точки зрения Лара ни в чем не виновата. В сущности, против нее нет никаких улик. Схватили ее в момент паники, когда зря хватали очень многих. Я уверен, мы встретимся с нею и встреча эта не за горами.

Во Владикавказе Юрочка и Тугарин заняли комнату в гостинице «Россия». В этой гостинице жили почти все русские офицеры Ингушского полка.

Положение создалось неопределенное и тревожное. Бурлил котел ненависти между ингушами, казаками, осетинами и жителями трех слободок, почти сплошь большевизированных.

Ингуши добровольно ставили свой караул

как возле гостиницы «Россия», так и внутри. Офицеры спали, не раздеваясь, имея под рукой оружие, готовые в любой момент не только к защите, но, если бы это понадобилось, и к нападению. В этой напряженной атмосфере отсчитывались дни за днями, недели за неделями.

Новости из России черпались из газет и, еще больше и полнее, из уст офицеров, прибывавших с каждым днем во Владикавказ либо в штатском, либо в солдатских беспогонных шинелях.

Новости – одна другой безотраднее. Керенский под давлением Смольного посадил «мятежного генерала Корнилова» в Быхов, этот маленький белорусский городок. В корниловскую тюрьму превращена старая иезуитская семинария. Участь Корнилова поделило еще несколько мятежных генералов. Над всей этой группой назначен суд, но с минуты на минуту ожидается самосуд. Смольный ведет остервенелую кампанию против контрреволюционных генералов. Солдатские орды пытались наводнить Быхов и растерзать узников иезуитской семинарии. Но Корнилова

охраняют две сотни верных текинцев и, кроме того, в Быхове стоит эскадрон польских улан, вновь сформированного польского корпуса под командой генерала Довбор-Мусницкого. Штаб корпуса находится в Бобруйске. Оттуда генерал Довбор-Мусницкий прислал в Быхов одного из своих адъютантов, поручика Понсилиуса. На словах поручик Понсилиус сообщил приказание Довбора командующему эскадроном быховских гусар:

– Охранять генерала Корнилова от каких бы то ни было покушений!

Уланы блестяще выполнили приказ.

В Быхов из Бердичева прибыл эшелон с целым батальоном солдат-бунтарей. Они еще из вагонов кричали:

– Мы всю эту корниловскую банду разорвем на куски и бросим собакам на съеденье!

Комендант станции, польский офицер, позвонил в эскадрон. Не прошло и десяти минут, не успели еще выгрузиться солдаты, а уж эскадрон был тут, как тут с наведенными на эшелон пулеметами.

– Или убирайтесь назад, к себе, или всех до одного выкосим!

Перетрусившая солдатня поспешила отвалить восвояси в Бердичев.

А дальше события замелькали быстрее, и пришло то, что не могло не прийти. Большевики с ничтожными силами свергли керенщину, а сам Керенский бежал, переодевшись бабой. Зверски убит был матросами генерал Духонин. В Быхов снаряжалась уже целая карательная экспедиция для расправы с корниловцами. Горсточка польских улан и текинцев уже не могла бы защитить быховских узников от большевистских полчищ, стягивающих мощную артиллерию.

Нельзя было упустить момента. Генералы Деникин, Лукомский, Романовский, Эрдели, Эльснер и полковник Пронин, переодевшись в штатское, бежали, рассыпавшись по всему уезду. Генерал Корнилов со своими текинцами в конном строю двинулся к югу через Могилевскую губернию, выдерживая бои с большевистскими отрядами и бронепоездами, что пытались окружить его, захватить...

Таковы были последние вести.

Великая смута и новый кровавый хаос удушливыми газами окутывали русскую зем-

лю.

Осаждающие и осажденные

Обоз Ингушского полка, опоздавший со своим расформированием, помещался в доме купца Симонова в самом центре Владикавказа. Этот каменный дом, с обширным двором, хозяйственными постройками, глубокими подвалами, обнесен был высокой каменной стеной с прорезом для массивных, окованных железом ворот и такой же массивной калитки.

Обоз с частью полкового добра, с несколькими десятками лошадей и несколькими повозками охранялся двадцатью ингушами. Во дворе стоял денежный ящик. Но хотя от денег не осталось даже воспоминаний, по слободкам и по казачьим станицам пущен был слух, что денежный ящик ингушей таит в себе несметные сокровища. Этот слух весьма укрепился и поддерживался Карикозовым. Эксфельдшер, очутившийся на Кавказе, скрывался в молоканской слободке. Он-то и разжигал аппетиты и грабительские инстинкты слободской и казачьей вольницы.

– Сам видел! Сам знаю! Денежный ящик! Много золота, много пачка сотенные царска бумажка! А бриллианта? Ва, сколько бриллианта!

– Откуда бриллианты? – недоумевали распаленные слушатели.

– Какой разговор? Откуда? Знаем, откуда! Мало эти свинья ингуши в Галичи польски помещик воровал?

Карикозов сам верил в несметные богатства денежного ящика.

Тугарин и Юрочка едва ли не каждый день наведывались в обоз. Во-первых, там стояли их лошади, во-вторых, их тянуло к всадникам, к той горсточке, уцелевшей от распыленного полка, полка, в рядах коего они воевали три года...

И в этот холодный осенний вечер они были в усадьбе купца Симонова, в знакомой, ставшей близкой обстановке: с запахом лошадей, запахом седел, пучками прислоненных к стене пик, с гортанной речью «туземцев», с Георгиевскими крестами на черкесках ингушей – все это притягивающе напоминало недавние подвиги, недавнюю славу Дикой ди-

визии.

Из темной впадины конюшенных ворот доносилось пофыркивание лошадей попеременно с похрустывающими звуками жевания. Среди двора, под звездным небом, поднимался на колесах легендарный денежный ящик – предмет стольких хищнических вожделений. Бесшумно скользили силуэты в черкесках, и как-то особенно уж, по-ночному, звучала ингушская и русская речь.

Кроме ингушей, из русских было двое при обозе: вахмистр Алексеенко, в прошлом своем бывалый лихой пограничник, вольноопределяющийся Волковский, маленький сорокалетний бородач, по натуре свое неугомонный бродяга, участник нескольких войн.

Хотя обоз не ожидал нападения, но, по смутному времени, ингуши были начеку и ворота всегда держали на запоре.

Тугарин и Юрочка уже собирались вернуться к себе в гостиницу, уже Тугарин, перекинувшись несколькими словами с бравым, подтянутым Алексеенко, двинулся к воротам, как один из ингушей преградил ему путь:

– Постой, постой немного, ваше высококоро-

дие...

И все другие ингуши как-то насторожились вдруг, словно учуяв что-то своим горским звериным инстинктом.

А так по внешности все было спокойно и тихо. Ничего подозрительного, ничего не доносилось извне.

Настроение ингушей передалось офицерам. А еще минута, и через высокую каменную ограду начал проникать гул каких-то задушенных коротких слов и – выкриков.

Опасность, неясная пока, смутная, но все же опасность. Ингуши бросились к винтовкам. Тугарин, Юрочка и Алексеенко потянулись к своим револьверам у пояса. Волконский, метнувшись к калитке, откинул засов и выглянул на улицу. И тотчас же щелкнуло несколько выстрелов, и послышалось падение тела. Алексеенко втащил Волковского за ноги во двор и запер калитку. Опасность придвинулась уже вплотную. Двое ингушей пробежало «стене. Один цепким, хищным движением вскочил другому на плечи, осмотрелся кругом и тотчас же спрыгнул на землю и быстро, быстро заговорил по-ингушки.

Старый всадник на ломаном русском языке переводил:

– Казаки. Много казак! Пятьсот казак будет. С винтовкам! Один с буркам, другие с черкескам. На нас атакам идут!

До сих пор терцы нападали на одиноких ингушей, на маленькие группы их, а теперь, пользуясь тем, что обоз Ингушского полка отрезан от Базоркина и остальных аулов, решили расправиться с ним.

И действительно, если не пятьсот казаков, то, во всяком случае, не меньше трех сотен пешей, нестройной ватагой, выслав, однако, дозоры, медленно приближались к усадьбе купца Симо нова. И потому ли, что казаки успели разложиться, потому ли, что не на воинское, доблестное дело шли они, а на темное и грабительское, против горсточки какой-нибудь по сравнению с собой, а только вид у них был – вид банды, и свои винтовки несли они нащупывающе, дулом вперед, как абреки.

Нападающие не знали в точности, сколько именно затаилось ингушей за каменными стенами. Догадки были разные, но все эти до-

гадки преувеличивали отряд, охранявший обоз. Кто говорил 60, а кто называл и более внушительную цифру – 100. И еще не знали терцы, что у ингушей было немного патронов, по тридцати приблизительно на человека.

Попытка внезапно ворваться в симоновскую усадьбу отпала после того, как вахмистр Алексеенко втащил во двор Волковского и запер калитку.

Из казачьей гущи понеслись недовольные выкрики:

– Ишь, черти! Закрыться успели! Придется измором брать!.. Карикозов, в лохматой бурке и тоже с винтовкой, благоразумно державшийся в самом тылу, подбадривал соседей своим хриплым, сдавленным голосом:

– Не бойсь, товарищ, не бойсь! Мы их все возьмем тепленьки! Только до ящик добратсья! Все будем богачи! А только вы мене на расправу дайте полковник Тугарин. Она там сидит, полковник Тугарин! Мы ему будем припомнит ногайкам в морда!..

Казачи, подошедшие вплотную к дому Симонова, предлагали:

– Эй, вы, ингуши! Вязжите своих офицеров да сами выходите! Целы останетесь! Всех выпустим!

В ответ брошено было несколько ручных гранат. Оглушительные разрывы, бешеные крики, брань. Кое-кого перекалечило. Отхлынувшая толпа осыпала и дом, и стены градом пуль. Со звоном посыпались разбитые стекла оконных рам.

Темпераментные горцы хотели ввязаться в поединок такими же залпами. Но Тугарин приказал беречь патроны и стрелять лишь наверняка, по видимой цели. И приказал он еще всем спуститься в подвал и увести с собой лошадей, чтобы не иметь лишних потерь от гранат, коими в свою очередь забрасывали нападающие симоновский двор.

Сам же Тугарин снаружи, вместе с Алексеем и старым всадником, занял надежное прикрытие.

Наиболее предприимчивые терцы ворвались в соседние большие, двухэтажные дома и оттуда, из верхних окон, начали обстреливать и забрасывать гранатами опустевший двор...

Тугарин и бывшие с ним медленно и спокойно брали смельчаков на мушку и снимали их одного за другим...

А у осажденных была пока только одна потеря – Волковский, снесенный в подвал бездыханным.

Целую ночь продолжалась осада. А в это время весь Владикавказ жил своей нормальной жизнью, если вообще могло быть что-либо нормальное в эти сумасшедшее дни. Все, что было вне кварталов, прилегающих к симоновскому дому, ходило, гуляло, под музыку ело и пило в ресторанах и кофейнях.

И никого не смущали доносившиеся разрывы гранат и выстрелы. Никто не интересовался этим, и лишь самые любопытные задавали рос:

– Что это? Где? Кто с кем? В ответ равнодушное:

– Терцы с ингушами задрались у дома Сиимонова.

– А! Да ну их. Нам-то что?...

И официанту заказывалась новая бутылка вина, а музыкантам – «На солнце оружием сверкая» или «Шарабан».

На утро и на день осажденные и осаждающие как-то затаились. Ингуши совсем молчали, казаки же лениво постреливали.

Тугарин, не смыкавший глаз, как-то почерневший за ночь, решительный, выяснил наличность патронов. На каждого всадника осталось по одной обойме. Можно еще держаться. Но красноречивее этих обойм для Тугарина было настроение ингушей, бодрое, приподнятое. Он пытливо всматривался в смуглые, как и у него, почерневшие лица – ни уныния, ни подавленности, ни отчаяния. А ведь положение всех. Этих людей почти безнадежное. На исходе патроны, на исходе вода, весь хлеб съеден.

Тугарин со старым ингушей и Алексеенко держал военный совет.

– Единственное спасение, – сказал Тугарин, – это дать знать в Базоркино. Ингуши сейчас же примчатся на выручку. Алексеенко, ты лихой старый пограничник. Можешь сделать вылазку, когда стемнеет?

– Так что, ваше высокоблагородь, тут в подвалах есть вольная одежда симоновских приказчиков – зипуны, тулупы. Переоде-

нусь – и айда! В Базоркино восемь верст. Живо смотаюсь. Сотни шашек довольно разогнать эту шатию.

Алексеенко, сняв с себя черкеску и оставшись в одном бешмете, надел сверху мещанский зипун и был готов к вылазке. Чтобы возможно лучше обеспечить ему вылазку, Тугарин приказал бросить в осаждающих несколько ручных гранат и сделать из слуховых окон чердака пять-шесть выстрелов.

Терцы отхлынули, очистив на значительное расстояние улицу и унося с собою раненых. И вот тогда-то, воспользовавшись этим, выпущенный из симоновского дома вахмистр пополз в темноте. Но, увы, находившиеся в сотне-другой шагов осаждающие заметили его и открыли огонь. Раненный пулей в ногу Алексеенко все же переполз улицу и, уже очутившись под прикрытием домов, побежал вдоль пустынных кварталов; и только на самой окраине города он сошел к журчавшему Тереку, промыл и перевязал свою, хоть и неопасную, но стойкую немалой потери крови, глубокую царапину... А в симоновском доме ничего этого не знали и были уверены,

что Алексеенко убит и погиб и ждать спасения неоткуда. Если же оно и придет когда-нибудь, то будет уже поздно и все защитники маленькой импровизированной крепости успеют превратиться в собственные тени от голода, нечеловеческого переутомления, бессонницы, голода и жажды...

Маленькая неприятность в большом свете

Прошло десять лет.

В чудовищном вихре метались и кружились события.

Давным-давно успели отгореть последние огни белого освободительного движения. Горсть добровольцев и казаков согнулась, согнулась, но не сломалась в непосильной, титанической борьбе с неисчерпаемым пушечным мясом Третьего Интернационала.

Врангель вывез из Крыма остатки русской армии. А через несколько лет сам Врангель, все еще опасный большевикам, опасный даже в изгнании, был тонко и сложно отравлен ими.

Несчастливая Россия пережила за это время

эпоху военного коммунизма, когда матери, голодные, обезумевшие, пожирали своих младенцев и когда в застенках ЧК расстреливались тысячи русских людей, тысячи, неумолимо выраставшие в миллионы.

И за все десять лет два, только два одиноких выстрела прозвучали в ответ на миллионы подлых убийств. Да, только два выстрела в эмиграции. Один в Женеве – по Воровскому; другой в Варшаве – по свирепому палачу царской семьи Войкову. На два миллиона русской эмиграции только и нашлось двое энтузиастов-мстителей – Конради и Коверда.

Первый был оправдан швейцарским судом, второй, юноша, даже мальчик, угодливо-трусливым польским судом приговорен был к пожизненной каторге.

А за это время, и даже не за это время, а в течение двух лет, армянская молодежь успела перебить в разных городах Европы весь турецкий кабинет министров, повинных в резне турецких армян.

Зато советские министры и дипломаты свободно разъезжали по всему свету, вручали верительные грамоты свои королям и прези-

дентам, участвовали в международных конференциях, и никто, никто не покушался на их драгоценную жизнь.

Русская эмиграция разбрелась по всему миру, но главное ядро ее осело во Франции, преимущественно в Париже. Одним удалось вывезти с собой много ценностей. Приумножая их, они стали богаты. Другим посчастливилось разбогатеть из ничего, но как те, так и другие позабыли родину и, не давая ни гроша на русское дело, допытывались:

– Когда же мы вернемся? Когда же все это кончится?

А те, кто свое здоровье и молодость отдали сначала Великой, потом гражданской войне, работали у заводских станков, разъезжали шоферами в такси, дежурили ночными сторожами и, помня о России, из скудных грошей своих уделял и на террористические организации внутри Совдепии, и на русский Красный Крест, и на русских инвалидов.

В Париже очутились наши старые знакомые, связанные и прямо, и косвенно с Дикой дивизией.

Всплыл, и довольно видной фигурой

всплыл, барон Сальватичи. Годы сказались. Еще более помятым было лицо его с ястребиным профилем и голым черепом. Фигуру же сохранил бодрую, крепкую. Не мог разрушить ее кокаин, к которому он прибегал все чаще и чаще.

Жил Сальватичи в комфортабельной квартире, возле парка Монсо, но значительную часть дня проводил в особняке на другом берегу Сены.

Этот особняк, снятый им у одной герцогини, он отвел под лечебницу для желающих похудеть. Пациенток своих, полных аргентинок, египтянок, главным образом представительниц экзотических стран, Сальватичи принимал в белоснежном халате, имея ассистентками двух дам врачей и нескольких сестер милосердия.

В русских кругах говорили, что эту лечебницу Сальватичи создал для отвода глаз, дабы вместе с нею создать и свое собственное положение в столице мира. Лечебница – это официально, неофициально же доктор Сальватичи – видный агент Москвы и получает громадные суммы на предмет сыска и разло-

жения эмиграции. Преследуя обе эти цели, он субсидирует некоторые ночные рестораны и одну кинофабрику.

Жил, и широко жил, бывший адъютант Чеченского полка Тапа-Чермоев. Под свои нефтеносные земли на Северном Кавказе он получил большие миллионы от английских трестов, ждавших, что после падения советской власти Чермоев будет вновь фактическим собственником своих участков, фонтанами брызжущих в воздух «жидким золотом».

Одно время «отец чеченского народа» занимал в Пасси «исторический» особняк, принадлежавший знаменитой танцовщице Дели-Габи, знаменитой тем, что она была подружкой Мануэля, короля португальского, из-за нее поплатившегося своим тронном. Это она, Дели-Габи, ввела в свое время в моду «танец медведя», прообраз много позже воцарившегося чарльстона. Миллионы не задерживались у Чермоева. На его счет жило около восьмидесяти родственников, и он раздавал деньги всем, кто к нему обращался за помощью.

Адъютант Черкесского полка Вёрига-Дарезский занимал хорошее место в одном из

банков, потом его перевели в Лондон, а затем он уехал в Варшаву.

Адъютант Ингушского полка Баранов, Георгиевский кавалер, в нескольких войнах получивший несколько ран и контузий, служил ночным сторожем в большом доме на Елисейских полях, где помещается контора газеты «Пти Паризьен».

Принц Наполеон Мюрат, в Карпатах отмороживший себе ноги, потерял их окончательно и передвигался в тележке. И Мюрата, и его тележку знала вся Ницца. Он жил переводом книг с русского на французский. Так угомонила судьба этого силача, наездника, бретера и доблестного боевого офицера.

Забросило в Париж еще целую фалангу офицеров славной Дикой дивизии: князя Бековича-Черкасского, двух князей Амилахвари – Алика и Гиви.

Насаждали цыганское пение на берегах Сены ротмистр Багрецов и поручик Миша Толстой, сын великого писателя земли русской.

А племянник этого писателя, Андрей Берс, служивший в Чеченском полку, держал ночной ресторан «Кунак». Весь Монмартр знал и

рослую фигуру Берса, и его лицо Чингисхана, и его неизменную черкеску, и рыжую папаху. На фоне Монмартра описал его Жозеф Кесель в своих «Княжеских ночах»[1].

Романист-балетоман Светлов, весь седой, но крепкий и бодрый, несмотря на жестокую контузию, уже несколько лет был администратором балетной школы знаменитой балерины императорских театров Трефиловой.

Вынырнул в Париже, много лет спустя после владикавказских событий и осады обоза ингу шей в симоновском доме, экс-фельдшер Карикозов. Теперь на его визитных карточках стояло уже «доктор медицины».

То же самое асимметричное лицо с носом-картофелиною, та же подчеркнутая жестикуляция, та же самая хриплая речь с более чем выразительной мимикой. Но теперь этот самозванный доктор медицины одет был с иголочки, на его коротких пальцах сверкали крупные бриллианты, и такими же бриллиантами усеян был массивный портсигар. Теперь Карикозов жил в дорогом отеле, спекулировал драгоценностями, кутил в ресторанах и много тратил на женщин.

По словам Карикозова, он приехал из Персии, где был лейб-медиком его величества шаха Персидского. Шах осыпал его милостями, и Карикозов был при нем едва ли не первым человеком, но Персия ему надоела – захотелось видать большо́й свет.

Этот большой свет встретил его маленькой неприятностью.

Однажды на русском благотворительном балу, после нескольких бокалов шампанского, господин Карикозов пришел в игривое настроение и начал по-своему резвиться. Приставал к дамам, хватал их за ноги и многообещающе обмахивал свою возбужденную вспотевшую физиономию веером из тысячефранковых билетов. Затем его внимание привлек оркестр, исполнявший модные танцы. Подойдя вплотную, Карикозов начал приставать к музыкантам:

– Скажи, пожалуйста, играть не умеете! Вот я вам покажу! – и он полез на эстраду.

Но не успел еще занести ногу, как вдруг, взмахнув руками, отпрянул назад и, неудержимо пронесшись несколько шагов, влип в группу, танцующих пар. Он что-то дико орал,

и его лицо украсилось громадным вздувшимся желваком.

Никто ничего не понимал, и все думали, что, пожалуй, это какое-нибудь забавное коленце подвыпившего субъекта. Его усадили на стул. Бессмысленно вращая глазами, сам не понимая, что произошло, он бормотал:

– Ва... ва... что смотришь, дурак? Ва... что смотришь?

Желвак вырастал, вспухал, закрывая глаз, а публика неудержимо хохотала над этим «аттракционом» вне программы.

Удар был нанесен с такой непостижимой и ловкой стремительностью – даже музыканты ничего не успели заметить.

Джаз-бандист, бледный, стискивая зубы, сдерживая свое волнение, продолжал звенеть медными тарелками и ударять обтянутой замшей болванкой о туго натянутую кожу барабана.

Этот джаз-бандист и был виновником забавного происшествия. Лишь только лейб-медик его величества шаха попытался взобраться на эстраду, Виктор Ревич, в прошлом кавалерийский офицер, а теперь джаз-бандист,

тотчас же узнал Карикозова, хотя с первой и последней встречи их минуло уже около десяти лет. Воспоминания были так отвратительны, что Ревич, боксер и спортсмен, с молниеносной быстротой свел свои счеты с подвыпившим нахалом.

...Это было в Константинополе, тотчас же после эвакуации Крыма войсками Врангеля. Английская разведка ревниво следила, чтобы русские офицеры не продавали оружия эмиссарам Кемаля-паши. В этих целях агенты англичан широко занимались провокацией.

Ревич из Крыма вывез в двух чемоданах разобранный пулемет Максима и, когда уже нечего было есть, решил «загнать» пулемет. Карикозов, щеголявший по Константинополю в черкеске с двумя Георгиевскими крестами, подъехал к нему:

– Пулемет имеешь? Прадай пулемет! Хороши деньги получишь. Я знаю людей от Кемаля... Ревич согласился. Карикозов предложил:

– Бунар-Хисар знаешь? Гора стоит, на горе башня. Привази пулемет завтра в три часа. Я под гора буду с верны человек... Он тысячи лир дадит. Привази пулемет!

Ревича взяло сомнение. Он захватил с собою друга.

– Я с чемоданами спрячусь на горе, между деревьями, а ты спустишься вниз и понаблюдай. Сообщишь мне. Если Карикозов только с рябым турком, тогда и я спущусь. А если нет, если будут посторонние еще, значит – ловушка.

Друг, сделав разведку, вернулся бледный, взволнованный:

– Уноси свою голову! Скорей! Скорей! Когда они очутились вне досягаемости, друг пояснил:

– Карикозова не было, был только рябой турок, а поодаль машина с четырьмя английскими жандармами.

И тогда только понял Ревич, что ему грозило. Англичане избивали до полусмерти всех, уличенных в продаже кемалевцам револьвера или винтовки. А если это был пулемет, виновного, завязав в мешок с камнями, бросали ночью в Босфор...

Лара

Лара, после обыска в ее квартире, отвезена была матросами на маленьком буксирном пароходе в Кронштадт. Ее (посадили в военной тюрьме в одну из тех холодных, сырых, с бетонным полом камер, куда во «дни проклятого царизма» солдат и матросов сажали никак не более чем на 24 часа. А теперь, во дни демократических свобод, в каменных мешках долгими месяцами томились те, кого упрятывала]в эти мешки разнузданная матросская вольница.

Лара узнала, что такое революционная тюрьма. Дважды в день вместо супа она получала какую-то зловонную бурду, четверть фунта хлеба, а вместо чая – наполненную кипятком бутылку из-под пива. Эта вода служила ей для питья и умыванья. Матросы подсматривали в квадратное окошечко – «глазок», проделанный в металлической двери, – что делает Лара. Эти же матросы раз в день с хохотом выводили ее «на прогулку».

Тщетны были все попытки Лары добиться, почему и на каком основании, безо всяких об-

винений держат ее в сыром каземате.

Ответ был один и тот же:

– Мы моряки, мы здесь все! Никаких Временных правительств не признаем!

Лара исхудала и ослабела. И постепенно вместе с этик ею овладело тупое ко всему и ко вся безразличие...

Она сама ловила себя на этом, но ничего не могла поделать. Да, именно какое-то тупое безразличие. И в своей любви к Тугарину усомнилась, хотя головой, умом уверяла себя, что любит. Духовное уступало понемногу место внешнему, животному. Она почла бы за невыразимое счастье как следует вымыться, сделать обычный туалет и есть, много есть, без конца, что-нибудь очень вкусное.

Совсем равнодушно отнеслась она к перевороту, когда тюремщики-матросы объявили ей:

– Наша взяла! Теперь наша советская власть!

В тюрьме воцарение большевиков казалось в том, что матросы начали держать себя еще разнузданнее, а бурда вместо супа стала еще зловоннее. Соседние камеры наполни-

лись арестованными офицерами. К ночи эти камеры пустели. Офицеров расстреливали. А на следующий день камеры наполнялись новыми узниками.

Так проходили месяцы.

Студент Канегиссер убил красного директора департамента полиции. Новые аресты, новые заложники, новые репрессии. Кронштадтская тюрьма наполнилась офицерами, священниками, генералами, купцами. В квадратный глазок Лара однажды увидела своих петербургских знакомых – генерала Княжевича и полковника Безака. А к утру и Княжевич, и Безак, и сотни всех остальных заключенных были расстреляны...

Приехал из Петрограда важный комиссар Гелер, упитанный наглец, с густой копной волос, с перхотью на пиджаке и с нероновским профилем. По крайней мере, он сам всех уверял, что у него нероновский профиль.

Гелер сделал карьеру своей жестокостью и окончательно выдвинулся тем, что в особняке великобританского посольства убил военно-морского агента капитана Кроми. Англичанин пал геройской смертью после того, как

застрелил шесть красноармейцев.

Окруженный свитой из матросов и комиссарской мелкоты, Гелер обходил заключенных. Он спросил Лару:

– Вы за кем числитесь?

– Ни за кем. Я была арестована еще при Керенском.

– А... – протянул Гелер, – я разберу ваше дело.

Вечером он ее вытребовал к себе в низенькую тюремную канцелярию в одном из флигелей.

Через день Лара была у себя, у Таврического сада, и Гелер прислал ей большую корзину с вином, фруктами, холодным мясом, консервами. Для голодающей столицы это была роскошь неслыханная.

К ней часто приезжал Гелер со своими товарищами. Кутили, хохотали, пели, лилось шампанское. Нюхали кокаин. И Лара нюхала.

Так прошел год.

Комиссары посещали гражданку Алаеву, но уже без Гелера. Этот наглец, уличенный своими же в какой-то грандиозной спекуляции, был расстрелян, как до сих пор он сам

расстреливал «классовых врагов». Его заместитель предложил как-то Ларе:

– Товарищ Алаева, вы можете быть нам полезной в Европе. Вы знаете иностранные языки, и вообще вы дамочка хоть куда! Я вам устрою выгодную командировку.

У Лары все замерло внутри, а потом шибко-шибко забилося сердце. Только светская выдержка не выдала безумной радости. И, незаметно для комиссара овладев собою, она ответила спокойно, и даже с каким-то снисходительным оттенком:

– Об этом можно подумать. Вы правы. Я могу быть вам полезной именно там!

И вот она в Париже. У нее деньги, большие деньги в самой разнообразной валюте.

Тогда еще Франция не признавала советскую власть, и кремлевская шайка, не щадя затрат, посылала своих агентов в Париж.

Но Лара не оправдала надежд. Она не только не приносила пользы пославшим ее, а, наоборот, поносила большевиков в тех международных кругах, в которых за несколько лет успела сделаться своею.

Но политикой Лара не занималась. Все бо-

лее и более овладевало ею безразличие, начавшееся еще в Петрограде.

Ее видели в обществе элегантных мужчин, видели всюду, где шумно, людно. И всегда Лара была со вкусом одета, низко подстрижена, с густо покрашенным ртом, с длинным мундштуком вечно дымящейся папиросы.

Русских она не то чтобы избегала, а не искала встреч с ними. Но все же случалось говорить со знакомыми. Они ей сказали, что Юрочка убит на юге России, убит в борьбе с большевиками. Юрочка... в свое время такой близкий, родной, такой друг, бескорыстный и верный! Бедный Юрочка!

Иногда вспоминала Тугарина, думала о нем, но все сведения о Тугарине сводились к одному: и он, как и Юрочка, дрался с большевиками, командовал сводным «туземным» полком, был, как всегда, смел и отважен, и дерзок... Но врангелевская эвакуация не прибила его к константинопольским берегам. И вот уже много лет о нем ни слуху ни духу. Жив ли? Скрывается где-нибудь, или же тайну его гибели хранит какой-нибудь забрызганный кровью советский застеночек?

И все реже и реже вспоминала она когда-то любимого человека.

Время, угарная жизнь, кокаин отдаляли и стирали его образ, и он бледнел и бледнел, превращаясь в подведенных глазах Лары в нечто совсем отвлеченное...

Бликие-далекие

Русские мирно завоевывали Париж на всех поприщах.

Русские мальчики и девочки первыми шли в гимназиях, колледжах и ремесленных школах. Русские певцы были первыми. Русские танцовщицы тоже.

Русский повар Корнилов, служивший двум императорам, взял первый приз на конкурсе всесветных кулинаров. В награду получил один из предметов тонкого ремесла своего, похожий на фельдмаршальский жезл. Да и в деле своем разве не был фельдмаршалом?

Небольшой ресторан его на скромной и тихой улице, на подступах к Монмартру, привлекал всех, кто любил и умел вкусно и с толком поесть.

Всегда было полно. Публика терпеливо

ждала, пока освободится столик.

Особенный колорит, и колорит хорошего тона, вносила фигура самого шефа в белом колпаке, с живыми, ясными глазами под седыми пучками бровей.

Корнилов приветливо обходил своих гостей, вспоминая прошлое с теми, кто знал его по России на протяжении многих лет.

Иногда, как художник, под наитием вдохновения жадно хватаящийся за палитру и кисти, спускался Корнилов вниз, па кухню, чтобы самолично приготовить гостю-гурману одно из тех блюд своих, коими он так славился. Строгий к себе Корнилов был строг к своим помощникам. Они у него часто менялись, но кто уживался долго, тот действительно мог выдержать самый требовательный экзамен.

В числе таких поваров был и полковник артиллерии Николай Владимирович, миниатюрный, с маленьким юношеским лицом и с громадными усами. Белый поварский колпак сообщал ему что-то умирительное и веселое.

Вот и сейчас сквозь приоткрытую дверь он наблюдал публику, и его громадные усы ше-

велились в детски добродушной улыбке. Думал ли он пятнадцать лет тому назад, что герцог Сандро Лейхтенбергский, в штатском, такой же эмигрант, как и он, будет сидеть в нескольких шагах за столиком, а он, Николай Владимирович, командир батареи, будет печь кулебяку, варить борщ, жарить шашлыки в маленькой подвальной кухоньке?.. И видит он знакомый, примелькавшийся здесь затылок дамы. Ее прозвали здесь «дамою с длинным мундштуком». Сегодня с ней какой-то новый господин. Несмотря на дорогой костюм и бриллиантовый перстень, вид у него плебейский и неприятна его громкая, хриплая речь с восточным акцентом. Он хлещет шампанское и ест с чудовищным аппетитом, особенно же приналег на действительно очень вкусный пломбир: уничтожив две порции, потребовал третью:

– Хорошо мороженой! Давай еще!

– Пломбир весь вышел, – ответил ему лакей.

– Как вышел? Почему вышел? Давай, говорят тебе!

Лакей, сдерживая бешенство, корректно

ответил:

– Пломбира больше нет!

– Какой черт нет! Давай сюда хозяин! – уже орал лейб-медик шаха персидского на весь ресторан.

Корнилов был тут как тут. Глаза его под серыми пучками бровей с холодным презрением остановились на беспокойном и шумливом госте:

– Чем вы недовольны, сударь?

– Что за порядки? Морожени нет!

– Вам сказано, что пломбир вышел... И вообще, кому порядки наши не нравятся, тот может не ходить.

Это было так сказано, что нахал тотчас же присмирел.

– Ну, что такое, хозяин? Не сердись. Выпьем шамански?

– Нет, нет, увольте, я занят, – молвил, отходя, Корнилов.

А дама сидела, как автомат, ничего не видя и не замечая.

С герцогом Лейхтенбергским было двое. Один – жизнерадостный, улыбающийся, с умными глазами на румянном, широком лице –

Тапа-Чермоев; другой – темный блондин с бородой.

Перед ними стоял кофейник – тонкий стеклянный шар, наполненный горячей густой жидкостью. Как желто-зеленый тигровый глаз, переливался в рюмочках маслянистый ароматный ликер.

Темный блондин с бородой продолжал свой рассказ:

– Большая часть ингушей уже пластом лежала от истощения и голода, уже не было никаких надежд на помощь извне, уже мы не сомневались, что Алексеенко убит, убит, переползая улицу в нескольких шагах от нас. Уже близилась третья ночь нашей осады. Мы не отвечали на выстрелы. Винтовочные обоймы все вышли, а в револьверных барабанах осталось по два патрона. Один – для врагов, лицом к лицу, во время штурма, другой – для себя... Тапа, ты помнишь Волковского? При жизни он был такой маленький, невзрачный, а труп его раздуло, и он лежал громадный, какой-то гороподобный... Страшно было смотреть на него!

И вот, когда мы уже совсем отчаялись, вне-

запно пришло избавление. Мы услышали топот по крайней мере двух сотен, услышали нараставшие крики «Алла!» и выстрелы. Ингуши налетели конной атакой на терцев и, смяв их, часть порубили, часть прогнали. Вел их ротмистр Бек-Боров. Он, кажется, Тапа, родня тебе по жене? Он первым ворвался в гущу терцев и погиб, пронзенный пулями...

Собеседники внимали, затихшие. Улыбка давно сбежала с лица Чермоева. Это минувшее казалось таким трепещущим, ярким и свежим здесь, в мирной обстановке парижского ресторана.

Но как бы удивились все трое, узнав, что через несколько столиков от них сидит спиной к ним экс-фельдшер Дикой дивизии, зачинщик и подстрекатель всей этой кровавой авантюры.

Но если Карикозов сидел спиной к Тугарину, то лицо его дамы Тугарин видел в профиль, и этот профиль напоминал ему что-то знакомое. Но, будто дразня воображение и память, образ ускользал, ускользал, и только под конец какой-то прямо физический толчок в грудь подсказал Тугарину:

– Лара!

И он не мог сдержать волнения, и это выразилось чисто внешне. Безо всякого желания он выпил свой ликер, помешал ложечкой давно растаявший сахар остывшего кофе и откусил зубами кончик сигары...

Герцог и Чермоев, решив, что он весь еще во власти воспоминаний, молчали.

Через минуту он уже овладел собой. Прошлого нет. Оно умерло так же, как они умерли друг для друга. У нее своя жизнь, у него своя. Ей хорошо или она делает вид, что ей хорошо. Но не все ли равно? Их пути разные. Она останется здесь, с тем или иным мужчиной, обедая, завтракая, ужиная. А он? Через день его не будет в Париже. Он вернется туда, где все время идет борьба за Россию. На одном из теплых морей он сядет на пароход с оружием и сотней таких же отчаянных голов, как и он сам. Их ждут, ждут, чтобы вместе с ними поднять восстание против красных насильников и убийц.

Бочка, насыщенная порохом, готова, надо лишь поднести зажженный фитиль...

Сноски

Ж. Кессель. «Княжеские ночи», роман, стр. 264. К-во «Ориент», Рига.

[^^^]